

Рисунки на асфальте

Очень редкая рама



— Вот бухта, вот корабли...

— А это?

— А это, вдали, «девичья башня», товарищи, с неё, с этой невероятной высоты, когда-то... дай бог памяти... прыгнула в море заточённая красавица... тогда воды моря омывали эту башню, так сказать, со всех сторон... Обращаю ваше внимание на многочисленные плоские крыши домов... этот фактор, как вы сами понимаете, говорит о том, что осадков в нашем городе выпадает незначительное количество...

— А это?

— ...эти красные цветы, товарищи, так называемые олеандры... Обратите внимание... вы видите громадную фигуру Кирова... Киров как бы стоит над бухтой... он приветствует этот чудесный город с этой горы... А сейчас мы снимемся на фоне нашего великолепного города, который расположен на берегу Каспийского моря, как вы сами видите, товарищи...

— На фоне кораблика!

— На фоне кораблика, товарищи, сняться нельзя, потому что он, как вы сами понимаете, не будет виден на фотографии.

— Ой, почему же?

— А потому, товарищи, что он на весьма далёком расстоянии находится от нас, что вы сами, естественно, видите.

— А может, получится?

— Нет, товарищи, я уже вам сказал, он не получится. Кто любит экзотику, садитесь на камни, а кто не любит, вот встаньте сюда, вот так... весь Баку будет как на ладони, что, вы сами понимаете, очень ценно... Фотографирую, товарищи, фотографирую, раз! Всё, товарищи. Разойдитесь и в положенное время снова соберётесь для дальнейшего движения...

Все расходятся. Я подхожу к отцу. Он вытирает платком лицо. Жара в нашем городе сильная.

— Тебе чего? — спрашивает отец.

— Очень редкая рама, — говорю я.

— Опять рама?

— Очень редкая, — говорю я.

— Отстань, — говорит отец. — Все собрались? (Это он говорит не мне.) Продолжим шествие, товарищи...

Все идут за отцом.

— ...я хочу обратить ваше внимание на то, что ветры в нашем городе дуют двести сорок дней в году... Но бухта, товарищи, расположена таким образом...

Я плетусь сзади. Вся пыль летит на меня.

Если он мне не купит эту раму, я просто не знаю, что мне делать, где мне деньги доставать тогда... Картины без рам — не картины. Вот я был в музее. Там все картины в рамах. Висят, как настоящие. Напишу я потом картины масляными красками. А рам у меня не будет...

— ...отсюда, товарищи, с этой высоты, вы видите бульвар... которого раньше, как вы сами понимаете, не было... Было море... По этому факту вы можете себе представить, насколько обмелело море, которое даёт испарений... чтобы не соврать...

— Неужели так обмелело?

— Вот именно, товарищи... вы правильно заметили... оно обмелело именно до такой степени... И жара и время... которое, так же как и жара... постепенно...

Все с удивлением смотрят на море. Качают головами и вздыхают. Я думаю о раме. Эта рама сейчас у меня перед глазами. Такую раму просто представить себе трудно! Потом такой рамы ни за что не найдёшь, уж в этом-то я уверен!

— ...изменения, всюду большие изменения...

Пыли-то сколько!

— ...если вы не устали, мы можем пройтись...

Неужели не устали? Я и то устал.

— ...отдохните и соберитесь для дальнейшего движения...

Все расходятся, курят. Без конца говорят о том, до чего всё-таки удивительно обмелело море.

Отец остался один. Я подхожу к нему.

— Ты всё ещё здесь?

— Такая рама! — говорю я.

— Это бессмысленно — покупать какие-то рамы! — говорит он.

— Если бы ты видел эту раму! — говорю я.

— И видеть не хочу, — говорит он.

— Мне нужна рама!

— Для чего?

— Ты увидишь её! Увидишь! Я не знаю, что с тобой будет, если ты эту раму увидишь! Ты такую раму ещё никогда не видел!

— У тебя нет картин, — говорит отец. — Ни одной нет картины. Господи! Зачем тебе рама?

— Картины будут, — говорю я, — были бы рамы!

Он смотрит на меня так, будто я вру.

— Стал бы я покупать эти рамы, если у меня картин не будет!

— Чтоб это было в последний раз!

Он даёт мне деньги.

— Ты увидишь её! — кричу я.

— Ах, — говорит отец, — пошёл ты от меня со своими рамами!

Самая большая рама

Она стояла в коридоре, громадная, до потолка.

Самая тусклая лампочка светила в этом коридоре. Самая прекрасная рама мерцала в полутьме. Покрытая пылью, увешанная тряпками, эта рама не сразу была заметна. На раме стоял горшок. Но я сразу заметил её. Протёр рукавом. Это была очень старая, очень красивая рама.

Отец с матерью сидели в бабушкиной комнате и пили чай, а я всё ходил возле рамы в бабушкином коридоре. Я рассуждал про себя: «Если бы эта рама была нужна, на неё не ставили бы горшок. Не вешали бы тряпки. Она не стояла бы здесь в пыли. Но в то же время она, может быть, нужна. Она, может быть, пока стоит. А потом она будет нужна. Если бы это была не бабушкина рама, можно было бы спросить, не продаётся ли она случайно. Ничего в этом нет такого. Может, люди хотят продать. А я хочу купить. Почему бы им не продать, если у них покупают? Но не будет же моя бабушка продавать мне раму! Она может только мне её подарить. А просить о том, чтобы она мне её подарила, было неудобно». Раньше, когда я был поменьше, я легко мог спросить у неё что угодно. Но сейчас не мог. Сколько слышал я разных слов: «Не волнуй бабушку», «Наша старенькая бабушка может умереть», «Не приставай к бабушке», «Не расстраивай бабушку», «Как тебе не стыдно такое спрашивать у бабушки», «Кто тебе позволил так разговаривать с бабушкой!». Нет, не мог я спросить у бабушки про эту раму. Я не был уверен в том, что это м о ж н о спросить. Что в этом нет ничего такого.

Обо всём этом я рассуждал в бабушкином коридоре.

Потом меня позвали в комнату, и бабушка угощала меня вареньем и всё повторяла, что давно меня не видела и хочет посмотреть на меня как следует, а я думал только о раме. Если мне что-нибудь в голову приходит, то обратно уже оттуда не уходит. Я думал, какую громадную картину можно вставить в эту раму, о том, в каком месте в нашей квартире можно повесить картину в такой раме, о том, сколько времени мне придётся писать такую картину.

— Раньше он был гораздо веселей, — сказала про меня бабушка. — И варенья всё время просил, а сейчас даже варенья не просит.

— Скоро он чего-нибудь покрепче затребует, — сказал отец.

— Чего потребует? — спросила бабушка.

— Ничего, — сказал отец.

— Не болтай ты, — сказала мама.

Бабушка спросила, не поставит ли ещё чаю, а я вдруг спросил, не мешает ли бабушке рама, когда она ходит на кухню ставить чайник.

— Голубчик ты мой, — сказала бабушка, — мешает она мне ужасно. Только родной внучек может о бабушке вспомнить, понять её, как ей эта рама проходить не даёт... Все коленки себе поотбивала, спину оцарапала, бок себе чуть не своротила об эту проклятую раму...

Никогда не любил я так бабушку! Ей не нужна была рама.

— О чём это вы? — спросила мама. Больше всего на свете ненавидела моя мама рамы. Будто эти рамы её в могилу загонят. Будто все беспокойства из-за рам. И беспорядок в доме.

Когда мама увидела эту раму, она закричала:

— Так вот к чему он клонит! Вот почему он так заботится о своей бабушке! Вот она, чистая, бескорыстная, добрая душа! Вот он, удивительный, художественный ребёнок! И ты думаешь, я позволю тебе тащить этот хлам в квартиру? Неужели ты мог хоть на миг об этом подумать?

Если мама начнёт кричать, она не остановится. Она будет кричать до тех пор, пока не устанет.

— Мне нужна рама! — кричал я. — Мне нужна рама!

Мы с мамой так кричали, что бабушке стало плохо.

— Что ты сделал с бабушкой! — возмущалась мама.

Отец стоял и молчал. Смотрел, что дальше будет. А потом как закричит:

— В конце концов, я ему покупаю рамы! А эту раму ему бесплатно дают!

Тогда мама сказала:

— Не хочу быть свидетелем этого безобразия! — Она хлопнула дверью и вышла.

Мы с отцом вынесли раму.

Бабушка крестилась.

— Чтоб позолота не слетела! — орал я. — Осторожно, чтоб позолота не слетела!

Отец сказал, что, если я так буду орать, он сейчас же бросит раму. Тогда я замолчал.

Мы её молча несли по улице. А мама где-то шла впереди. Мне казалось, что мы несём не раму, а что-то такое, что нельзя объяснить.

Интересно, что тогда скажет мама, которая сейчас против этой рамы, когда она увидит в ней мою картину, а вокруг этой картины толпа и все спрашивают: «Скажите, вы не знаете, кто написал эту картину? А смотрите, как прекрасно подобрана рама!»

Интересно, что она тогда скажет? Она тогда, наверное, скажет: «Я ничего подобного не говорила, я всегда была за то, чтобы взять у бабушки эту раму».

Рама простояла у нас весну, лето и осень.

Часто мечтал я о той картине. Которая будет в этой раме. Это должна быть замечательная картина. Может быть, это будет морская картина. Море и луна. Или море без луны. Или даже не море. А какая-нибудь пальма. Или даже не пальма. А какая-нибудь военная картина. А может быть, и не военная. Может быть, какая-нибудь другая замечательная картина.

Однажды зимой, поздно вечером, мы с отцом пришли из бани и радовались, что в комнате так тепло. Мы пили чай и хвалили маму. Ведь она затопила печку! А мама улыбалась. И мы тоже пили чай и улыбались.

Вдруг мама спросила:

— А знаете ли вы, что я сожгла?

Я сразу что-то почувствовал и стал смотреть по сторонам и не мог догадаться, но почему-то вдруг испугался и не хотел, чтобы она говорила дальше.

Но мама сказала:

— Я сожгла вашу дурацкую раму.

Я поперхнулся чаем, а потом заплакал.

— Лучше бы ты не трогала эту раму... — сказал отец.

Алька

Я волосы отрастил, и они у меня назад зачёсывались. Меня стали дёргать за волосы. Попом Толоконным Лбом звать, Мочалкой.

Я наголо постригся. Ещё хуже стало. «Лысый! — кричат. — Кочан капусты!» По голове часто гладят.

Сижу я со своей лысой головой на задней парте. Приходит к нам в класс новенький. Такой чёрненький, и глаза чёрные. Его со мной посадить хотели. Как раз я один сидел. А он не хочет.

— Это почему же, — спрашивает Мария Николаевна, — ты с ним сидеть не хочешь?

А он твёрдо так отвечает:

— Я с ним сидеть не буду.

— Это почему же? — спрашивает Мария Николаевна.

— Потому что он лысый.

Хотел я вскочить, дать ему за это.

Мария Николаевна говорит:

— Что за чушь! Он, во-первых, не лысый, а постриженный, а во-вторых, если бы даже он и был лысый...

Он твердит:

— Я с ним сидеть не буду.

— Почему же ты всё-таки с ним сидеть не хочешь? — спрашивает Мария Николаевна.

— А потому, — отвечает, — что я уже с лысым сидел, так меня с ним заодно дразнили, хотя я и не был лысый.

— Какая дикость! — удивилась Мария Николаевна.

В конце концов он всё же сел. Со мной не разговаривает. В мою сторону не смотрит. Я тоже на него не смотрю, но вижу, что он листок вынул и что-то рисует.

Вижу я — рисует он конницу, скачущую в атаку. До чего здорово у него получалось — ну как у настоящего художника! Как будто он сто лет учился. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь так коней рисовал.

Я сразу подумал, что мне так никогда не нарисовать, сколько бы я ни старался, но в то же время, если я как следует постараюсь, я не хуже нарисую.

Я хотел показать ему, как надо рисовать. А потом сделал вид, что не вижу. Он ведь не знает, что я лучше всех в классе рисую. Скажет, я подражаю. Скажет, я обезьяна какая-нибудь или там попугай.

Ничего. Потом он узнает, кто с ним рядом сидит! Потом он узнает, какие я стенгазеты рисовал! Какого я Шота Руставели нарисовал. Какого я лётчика Покрышкина нарисовал, трижды Героя Советского Союза!

Пусть, пусть рисует!

А потом думаю: он, наверное, всю сейчас воображает. Сидит и воображает, будто никого на свете лучше нету. Выходит, он будет здесь воображать, а я? Просто так буду сидеть?

Я вырвал листок из тетради. И стал рисовать танки, идущие в атаку.

Он сначала не заметил, что я тоже рисую, или он не хотел замечать, а потом заметил и рисовать перестал.

На мой рисунок глядит.

Я это сразу почувствовал. И всю рисую, на него никакого внимания не обращаю. Только локтем свой рисунок закрываю, чтобы он не видел.

Вдруг он говорит:

— А ну, покажи.

— Чего, чего? — говорю.

— Покажи, — говорит, — что ты там такое начирикал.

— Чего, чего? — говорю.

— Ас, ас! — говорит.

— Чего? — говорю.

— Осторожно! — говорит. — Ас, ас!

— Что это, — говорю, — ещё за ас, ас?

— Ра-ра! — говорит. — Ра-ра! Работай.

Вот нашёлся какой! Какие-то слова мне бормочет. Удивить, наверное, меня этими словами хочет. Что бы, думаю, ему такое ответить, чтобы он так со мной разговаривать перестал? В это время он мне говорит:

— Вот если тебя спросит кто-нибудь: «Ты не кр?» — ты что ответишь?

— Чего, чего? — говорю.

— Нужно ответить: «Я не кр!» Понятно?

Тут я разозлился и говорю ему:

— Крыса ты!

Я сам не знаю, почему его крысой обозвал. Просто ничего другого мне в голову не пришло.

Он поднимает руку и говорит Марии Николаевне:

— Он меня крысой обозвал!

Мария Николаевна говорит:

— Как тебе не стыдно, Стариков! К нам пришёл новенький, он, наверное, стесняется, а ты его крысой обозвал...

— Кто? — говорю. — Он стесняется?!

До чего меня зло взяло, вы не представляете!

— Если ты мне сейчас не ответишь, с какой скоростью летят навстречу друг другу самолёты, ты покинешь класс...

Я встаю.

— Какие самолёты? — спрашиваю.

Я, наверное, здорово моргал глазами, потому что Мария Николаевна вдруг сказала:

— Брось моргать! Ну-ка брось моргать! Дурачка представлять!

Моргал-то я просто случайно. Но я ничего не ответил. И всё молчал. А про эти самолёты я вообще ничего не слышал.

— Ну? — говорит Мария Николаевна.

— Повторите, пожалуйста, про эти самолёты, — говорю.

— Выйди, будь добр, из класса, — говорит Мария Николаевна.

— Если бы вы повторили ещё раз... — говорю.

— Я не могу слушать твои речи, — говорит Мария Николаевна.

Я собираю книги. Ничего такого я не сделал. Если бы я, там, мякнул, как в прошлый раз. А сейчас? Его ко мне посадили, а я виноват!

Я сижу на последней парте. Иду медленно к двери. Через весь класс.

— Страна залечивает раны после войны, — говорит вслед мне Мария Николаевна, — миллионы заняты созидательным трудом, миллионы трудятся, а один...

Я уже возле двери.

— Подожди, — говорит Мария Николаевна.

Я останавливаюсь.

— Подойди-ка сюда.

Я подхожу.

Она почему-то волнуется. Вот уже совсем непонятно. Ей-то чего волноваться? Меня из класса выгоняют, а она волнуется.

Я стараюсь больше не моргать.

— Тебе не стыдно? — говорит Мария Николаевна.

Она держит в руках ручку, наверное, мне двойку хочет поставить. А руки у неё сильно дрожат. Это, наверное, потому, что она очень старенькая. Говорят, у старых людей всегда руки дрожат от старости...

— Я к тебе хорошо отношусь, — говорит она, — и ты, Стариков, способный человек. А ведь ты мне на голову садишься... И потом, пожалуйста, не воображай. Ты можешь пропасть... как камень, брошенный в море. И не улыбайся. Пропадёшь или будешь босяком вместе со своими художествами. Если не будешь учиться... Люди, честно не относящиеся к своему труду, обычно плохо кончают...

Она не собирается мне ставить двойку.

— Стенгазету нарисуешь? — спрашивает меня Мария Николаевна.

— Нарисую, — говорю.

— Чтобы была на славу, — говорит она.

— Ладно, — говорю я.

— Разве ты для меня стенгазеты рисуешь? — говорит она.

Я иду на место. Сажусь рядом с новеньким.

— Ра-ра! — говорит он тихо. — Ра-ра! — Прямо в самое ухо мне говорит, представляете?

Я встаю.

— Я с ним сидеть не буду, — говорю я.

Мария Николаевна смотрит на меня и хмурится.

— Я с ним сидеть не хочу, — говорю.

— Выходите оба! — говорит Мария Николаевна. — Я не желаю слушать ваши речи!

Мы оба выходим.

Я с одной стороны. Он с другой. Я первый вышел в коридор, а он за мной.

Вдруг он говорит:

— Слушай, тут, наверное, разные завучи ходят... Пойдём в уборную.

— Я в уборную не хочу, — говорю.

— Самое безопасное место, — говорит. — Сиди себе в полной безопасности.

Я сначала совсем не хотел в уборную идти. А потом пошёл. И вправду, думаю, там, наверно, безопаснее.

Каждый в свою кабину сел. Сидим себе в полной безопасности. Здорово это он придумал!

Сидели, сидели, он мне постучал.

— Сидишь? — спрашивает.

— Сижу, — говорю.

— Как тебя звать? — спрашивает.

— Витька, — говорю.

— А я Алька, — говорит.

— Очень приятно, — говорю.

— Очень приятно, — говорит.

У нас с ним много общего оказалось. Масляными красками он, оказывается, так же как и я, никогда не писал. И рисовать его тоже никто не учил. Он сам всему научился. Он с самого детства на асфальте рисовал. Пойдёт с бабушкой в садик и рисует мелом на асфальте. Я стал вспоминать и вспомнил, что я раньше тоже рисовал на асфальте.

— Ты много на асфальте рисовал? — спросил он.

— Много, — сказал я.

— Хорошая школа, — сказал он.

— Какая школа? — не понял я.

— Художественная, — сказал он.

— Ага, — сказал я. Хотя всё равно не понял.

— На асфальте. На бумаге. На холсте, — сказал он.

— Ну да, — сказал я.

— Все истинные художники начинали рисовать на асфальте, — сказал он. — Так мне один художник сказал.

— Конечно, — сказал я. Хотя никак не мог понять, почему они все начинали рисовать на асфальте.

Он опять постучал мне.

— Ты чего молчишь? — говорит.

Достаточно ли я рисовал на асфальте? Стану ли я истинным художником? Вот о чём думал я.

— Ты что, заснул? — спросил он.

— А ты много рисовал на асфальте? — спросил я.

— Как помню себя, — сказал он.

— Я когда-нибудь нарисую громадную картину, — сказал я, — до потолка... у меня была рама... громадная рама... мама её в печке сожгла. Жалко мне эту раму...

— Если быть художником, — сказал он, — только великим. Мне один художник сказал, что не великим художником быть не стоит.

— Бей пять, — сказал я.

— Потом, — сказал он.

— Конечно, — сказал я.

— Звонка что-то нет, — сказал он. — Долго мы здесь сидим. Мне по чувству кажется — звонок должен быть.

— Наверное, ещё рано... — сказал я.

— Пойди-ка ты на разведку, — сказал он.

— На какую разведку? — спросил я.

— Был звонок или нет, — сказал он.

— А ты? — спросил я.

— А я посижу.

— Хитрый ты.

— А ты трус.

— Я не трус, — сказал я.

Я вышел из кабинки. Просунул голову в коридор и увидел директора. Он поманил меня пальцем.

— Разве ещё звонка не было? — спросил я растерянно.

— Иди, иди сюда, — сказал он.

На другой день мою маму вызвали в школу.

Пётр Петрович

Пётр Петрович ходит по классу.

Он очень худой и высокий. В солдатской гимнастёрке, в сапогах. Гвардейский значок на груди. Два ордена Красной Звезды.

Пётр Петрович проверяет, все ли принесли краски.

Краски принесли не все.

— Я никогда не понимал таких людей, — говорил он, — которые не любят краски... Тинторетто! Тициан! Делакруа! Они все любили краски. Запомните их имена! А Суриков! Посмотрите «Боярыню Морозову!» Посмотрите эту картину — и вы будете приносить в класс краски...

Пётр Петрович вынимает из портфеля глиняный горшок и сиреневую тряпку. Кладёт эти предметы на стол. Один конец тряпки он засовывает в горлышко кувшина, а другой свисает на стол.

— Все набрали в баночки воду? — спрашивает он.

Воду в баночки почти никто не набрал. Полкласса идёт за водой.

— Неужели нельзя было подготовиться? — Пётр Петрович садится за стол и так сидит, обхватив голову руками.

Один за другим входят с баночками, стаканами, чашечками ученики. В классе шум, разговоры.

Пётр Петрович всё-так же сидит, обхватив голову руками.

— Значит, все подготовились? — Он встаёт, ходит по классу. Кладёт на парты листки рисовальной бумаги.

Урок рисования начался.

Со всех сторон кричат:

— Пётр Петрович, посмотрите у меня!

— Пётр Петрович, посмотрите у меня!

— Пётр Петрович!!!

Он смотрит у всех.

— Начало хорошее, — говорит он. — Начало хорошее...

Класс стихает. Почти все довольны. Начало почти у всех хорошее.

Пётр Петрович сидит за столом, подперев рукой щеку, и рассказывает:

— Когда я был ещё студентом, на одной выставке висела моя большая картина... Так вот ты, Кафаров, спрашиваешь, почему я не знаменитый художник? Гм... как бы тебе сказать... Я, конечно, не знаменитый художник, ты правильно это заметил... совершенно справедливо это подчеркнул... Я... мне война помешала... большая семья... ну, как бы это сказать, дорогой мой... Та картина, о которой я только что говорил, была достойна висеть в ряду уважаемых художников... Я к тому это всё говорю, что... по существу, ты, Кафаров, задал мне довольно сложный вопрос, на который я тебе ответить, пожалуй, и не смогу... учитывая всю сложность жизни человека...

В классе тихо. Хотя часто бывает шумно. Почти никто не рисует. Все слушают. Тася Лебедева раскрыла рот и глядит на Петра Петровича. Залетит ей муха в рот, не будет так рот раскрывать...

— А где сейчас картина? — спрашивает Кафаров.

— Сейчас я даже не знаю... Дальнейшая судьба этой картины мне неизвестна. Её ведь у меня купили... Висела она в большом зале...

— Я видел! — кричит Кафаров.

— Ты не мог её видеть, потому что это было в Ленинграде. Я как сейчас помню: висит в большом зале... прекрасно освещённая... толпы народа... разговоры... даже споры... Я как раз тогда на пятом курсе в Академии художеств учился... несколько злоупотреблял красочной стороной в ущерб рисунку... И зачем я это всё вам рассказываю, и сам не знаю... Так вот... вспомнил, как говорится...

— А ещё вы рисовали? — спрашивает Кафаров.

— Картины не рисуют, а пишут красками. Рисуют карандашами, углём, пастелью. Я вам это уже говорил.

— Всего одну картину написали? — спрашивает Кафаров.

— Когда ты подрастёшь, ты не будешь так думать, как сейчас... Я прекрасно понимаю, о чём ты хочешь сказать... Я вовсе не для того вам это рассказываю... Кстати, я сейчас урывками пишу картину, которая у меня нехудо получается... Да будет вам известно, что Александр Иванов двадцать пять лет писал одну картину...

Кафаров больше ничего не спрашивает.

Никто больше ничего не спрашивает.

Зазвенели кисточки о баночки, стаканы, чашечки. Все снова рисуют. Даже Кафаров, который ненавидит рисовать, даже он язык высунул — до того старается. Все рисуют горшок и тряпку. Все словно хотят стать великими.

Никогда я не думал, что этот горшок и тряпку так трудно рисовать! Во-первых, один бок у горшка получается кривой. Во-вторых, он не получается круглый. А в-третьих, всё не так получается.

Я спешу исправить рисунок. Пока Пётр Петрович не видит. Хотя бы этот кривой бок подправить, пока он не увидел. «Вот тебе, — скажет, — и лучший рисовальщик! Вот тебе и способный!» Один раз я сломал себе руку, так Пётр Петрович сказал: «Как же так, у тебя золотые руки, а ты их ломаешь!» Я тогда очень гордился этим, что вот, мол, золотая рука, а я, несмотря на это, взял и сломал её!

Я спешу, а выходит ещё хуже. Теперь и второй бок кривой.

Смотрю Алькин рисунок. Тоже неважно получается. Кривой горшок получается.

Проклятый горшок! Трудно всё-таки стать великим, если этот горшок даже нарисовать не можем...

Звонит звонок.

— Одну минуточку! — Пётр Петрович поднял вверх руку. — Совсем забыл. «Пионерская правда», ребята, объявила конкурс на лучший рисунок, и если кто из вас постарается...

Алька говорит:

— Вот здорово-то! Наверное, я заберу премию. Я с самого детства рисую!

Вокруг загалдели:

— А какая будет премия?

— А сколько времени нужно рисовать?

— А чем рисовать?

— А на чём рисовать?

— А что рисовать?

Пётр Петрович опустил руку.

— Рисовать можно всё, — сказал он. — Срисовывать нельзя.

— А я срисую, и никто не узнает, — сказал Кафаров.

— Ты-то сам будешь знать? — спросил Пётр Петрович.

— Буду.

— А ты говоришь, н и к т о не будет знать!

Все засмеялись.

— Микеланджело! — сказал Пётр Петрович. — Франциско Гойя! Запомните их имена! — Он положил в портфель горшок и тряпку. — До свидания! — сказал он.

Кафаров

— Давай, Кафар!!!

— Бей, Кафар!!!

— Сюда, Кафар!!!

— Туда, Кафар!!!

— Так, Кафар!!!

— Есть, Кафар!!!

— Го-о-о-ол!!!

— Ка-фа-а-ар!!!

Я весь в пыли. В разорванной рубахе. Я вратарь.

Кафаров уже совсем близко. Он мчится с мячом на меня.

Удар! Я лечу в пыль. Поздно. Гол!

Если в вашей команде Кафаров, вы никогда не проиграете. Если он против вас, вы обязательно проиграете.

Никто во всей школе, на всей нашей улице не играет лучше Кафарова.

Игра продолжается.

— Лови! — смеётся Кафаров.

Я прыгаю мимо мяча.

— Чучело! — орут мне.

А я-то при чём? Посмотрите, как наши играют! Всё время мяч у Кафарова. Опять мчится на меня.

— Хватай! — кричит он.

Гол!!!

— Эй, ворона! — кричат мне.

Игра продолжается.

Гол! Ещё гол! Ещё!

Вся наша команда бежит за Кафаровым. Всё время мяч у него. Кафаров опять прорвался. За ним мчится наша команда. Ну и команда!

Я выхожу из ворот.

Мяч влетает в пустые ворота.

— Привет! — ору я. — С меня хватит!

— Что такое? — кричит капитан. — Встань на место!

— Сам встань и стой! — кричу я.

— Не имеешь права! — орёт кто-то.

— Тебе доверили! — орёт наш капитан.

— Вам тоже доверили! — кричу я. — Играть не умеете!

— Не твоё дело! — кричат мне.

— Вот ещё! А чьё же тогда это дело? Мне голы забивают — и не моё дело?

— Брать надо! — кричат мне.

— Играть надо! — кричу я.

Свистят и кричат. Скандал на поле.

— Двенадцать — ноль! — орёт кто-то. — Двенадцать — ноль!!!

— Это тебе не рисуночки рисовать, — говорит мне Кафаров.

— Подумаешь! — говорю я.

— Рисуночки разные там, шаляй-валяй, дурачка валять, а здесь дело серьёзное!

— Думай, что говоришь! — кричу я.

— Здесь работа! — орёт Кафаров. — Бить надо! Брать надо! А твоя работа — это не работа! — Он суёт мне в нос мяч. — На, забей! Ну? Я встану! А ты забей!

— Давай! — Я хватаю мяч.

Кафаров идёт в ворота.

Я считаю шаги. Кладу мяч. Кафаров приготовился.

Удар!

Мяч летит в кусты.

Больше всех смеётся Кафаров.

Возле учительской

Я бежал по коридору во весь дух. И зачем я бежал, сам не знаю. У меня иногда бывает такое желание — взять и побежать. Побегу, думаю, до той двери, пока та девчонка до неё не дойдёт.

Бегу я, значит, и со всего размаху налетаю на завуча. Я чуть его с ног не сбил.

Он зашатался и говорит:

— А если бы это был малыш? Первоклассник? Ты бы, наверное, его убил на месте? Ты что, конь, что ли? Иди сию минуту и жди меня возле учительской.

Я пошёл и встал возле учительской.

И тут я слышу голос Петра Петровича. Он кому-то в учительской рассказывает:

— Мечты у меня были в то время самые радужные... Великие идеи так и кружились в моей голове...

Трамвай по улице проехал, и я не слышал, что он дальше говорил. Потом слышу:

— ...окончил художественное училище... в Академию художеств собрался...

Я подошёл поближе.

— ...задержался... стал портреты писать сухой кистью... В то время они громадный спрос имели. Любому учреждению тогда требовались...

Радио в коридоре включили на полную мощность:

...Всем председателям совета отрядов собраться в пионерской комнате к пяти часам.

Радио умолкло. Пётр Петрович рассказывал:

— ...знаете, сухой кистью делать очень легко. Разбивается полотно на клеточки одинаковой величины... фотография данного портрета соответственно разбивается на клеточки... рисуется по этим клеточкам контур портрета... с фотографии... Дело идёт очень быстро... легко... результат получается налицо... По этим контурам сухой кистью... так сказать, растираешь... ерундовая работа... никакого таланта не нужно... только немножечко умения... ни уму ни сердцу, как говорится.

Тут опять трамвай проехал.

— ...я всё думал: ведь Брюллов, Суриков, Репин учились в этой академии... мечтал... робел... зарабатывал... портреты сухой кистью всё время писал...

В это время ко мне подходит Кафаров.

— Ты чего, — говорит, — тут стоишь?

— А тебе что? — говорю.

Тогда он к моему уху нагнулся и говорит:

— Ты замечал, какая Тася Лебедева красивая?

Я на него уставился и заморгал. Никогда я об этом не думал.

— Эх ты, — говорит Кафаров. И ушёл.

Пётр Петрович рассказывает:

— ...в дороге у меня чемодан стащили...

В это время звонок зазвенел.

Слышу дальше:

— ...настроение... положение... состояние... Ленинград... Я... Академия художеств... провалился... волновался... женился...

Всё время этот трамвай скрежетал. Скрежещет на повороте. Даже стёкла тряслись. Пётр Петрович стал совсем тихо говорить.

— ...так же, как и я... Суриков... в своё время... сын родился... второй раз провалился... учился... в конце концов недоучился... Война... дожди, болота... ранен... Волга... Днепр... ничего не поделаешь... Варшава... Кёнигсберг... Берлин... шесть, семь, восемь... Баку...

Вы знаете, что мне врач недавно сказал? «Вы, — говорит, — никогда не умрёте». Я, разумеется, посмотрел на него и говорю: «Знаете что, не надо мне сказочек рассказывать: они на меня мало действуют». Тогда он говорит: «Вы меня не поняли». — «Я вас, — говорю, — отлично понял, только это лишнее». — «Нет, — говорит, — вы меня не поняли. Если бы у вас даже один сын был, вы бы уже ни черта не умерли, а раз у вас их целых пятеро, то тут, знаете ли, о смерти говорить прямо-таки смешно...» Вот так он мне и сказал...

Пётр Петрович засмеялся.

— Вы и есть великий человек, Пётр Петрович, — сказал кто-то.

Трамвай заскрежетал.

Подходит ко мне завуч.

— Иди, — говорит, — в класс. И больше так не бегай.

Тася Лебедева

После того как Кафаров мне про Тасю Лебедеву сказал, я о ней думать стал. Да ещё Мария Николаевна про неё сказала: «Вы замечали, почему Лебедева сидит в классе во время перемен? Потому что она серьёзная девочка и беготня по коридорам ей претит».

Слово «претит» очень понравилось мне. «Тася», «претит», «торт», «петит» (что такое петит, я не знал) были самые прекрасные, волшебные слова. В том, что Тася самая необыкновенная, я уже не сомневался.

Я стал смотреть на неё. Смотреть всё время. Бесперерывно. Когда любят, решил я, наверное, всё время смотрят. На уроках я не мог на неё всё время смотреть: она сидела сзади меня, и я принёс в класс зеркальце и смотрел на неё в это зеркальце. Потом у меня это зеркальце отобрали.

Больше всего восхищало меня, конечно, то, что все выходят в коридор, всем это не претит, а она одна, можно сказать, во всём классе, а может быть, и во всей школе, которой п р е т и т.

— Ей всё, всё, всё претит... — тихо пел я перед сном. Мотив был из старинного романса. Я услышал его от мамы. — Ей всё, всё, всё претит... — тихо пел я на перемене.

— Чего ты бормочешь? — спросил Кафаров.

— Не твоё дело... — сказал я.

«Отстаньте от меня», — говорил я всем, хотя никто ко мне не приставал. Любовь, думал я, это такое дело, что никто не должен к тебе приставать.

Я решил ей подарить рисунок. Я подарю ей свой самый лучший рисунок, который висит у меня над кроватью. И пусть она повесит его над своей кроватью.

Была перемена.

В классе были я и Тася.

Она читала.

— Тася, — сказал я тихо.

Положил ей рисунок на парту. И вышел.

Всю перемену я думал о том, поняла ли она, что этот рисунок я ей дарю на всю жизнь, навеки. Лучше этого рисунка у меня никогда не было. Нужно было сказать ей об этом. А вдруг она не поняла, зачем я положил ей на парту рисунок? Подумает, я просто так — взял да и положил. Подумает, что этот рисунок мне совсем не нужен. Подумает, у меня таких рисунков, может быть, целая куча...

Звонок прозвенел. Вхожу в класс.

Рисунка на парте не было!

— Ей всё, всё, всё претит... — пел я по дороге домой.

Тася шла сзади.

Я замедлил шаг.

Когда Тася была почти рядом, я в каком-то непонятном восторге, сам не понимая, как это вышло, повернулся и... дал ей подножку.

Я просто хотел, чтобы она думала, что я всегда на неё внимание обращаю... Чтобы она думала, что я её замечая. Не знал я, что так всё получится!

Она поднялась и плачет.

— Дурак! — говорит. — Дурак!

Я стоял и моргал.

В это время Ыгышка подошёл. Если бы вы этого Ыгышку знали, вы бы никогда не захотели, чтобы он к вам подходил. Третий год в одном классе сидел. Потом его исключили. Здоровенный он был. Ещё бы! Так вот он подходит ко мне и говорит:

— Чего ты стоишь, дубина! Успокой невесту!

— Какая она мне, — говорю, — невеста? Ты думаешь, что говоришь? И какое ты имеешь право меня дубиной обзывать?

А он засмеялся вот так:

— Ы-гы-гы-ы...

И говорит:

— Кавалер! Невеста плачет, а он рот разинул! Успокой невесту, кавалер!

И не уходит, главное. Стоит и смеётся.

— Кто тебе сказал, что я кавалер?

Так я расстроился! Вот пристал!

А он говорит:

— А кто же ты? Дубина?

Хотел я на него с кулаками броситься — до того он меня разозлил. А потом раздумал. Кулаки у него здоровенные. Если он своим кулаком меня стукнет, я просто не знаю, что мне делать тогда!

— Отстань, — говорю.

Он засмеялся и пошёл. Идёт и смеётся. И откуда он тут взялся!

А Тася вынимает из кармана мой рисунок. Даёт мне и уходит.

Я её догоняю.

Она повернулась и в другую сторону пошла.

А я за ней.

И всё ей объясняю, что это у меня нечаянно получилось.

Вдруг вижу — этот Ыгышка навстречу нам идёт.

Подходит он к нам и говорит:

— Спички есть?

Я зубы стиснул и смотрю на него. Неужели он не понимает, что у меня спичек быть не может. Нарочно ведь пристал!

Смотрю на него и не моргаю.

А он прищурился и говорит:

— Ишь ты, рожу надул! Нету спичек — скажи: нету. И не паясничай. Ыгы? — Это его любимое выражение. — А то и по шее получить недолго.

Повернулся и пошёл.

А Тася в другую сторону пошла.

А я со своим рисунком остался.

Потом как стал его рвать! На мелкие кусочки изорвал и вслед Тасе бросил.

Кубик и квадрат



Увидев нас, Пётр Петрович закричал:

— Кто к нам пришёл!

— Мы просто так пришли, — сказал Алька.

— Ну и замечательно! — сказал он. — Вот и замечательно!

Я слышу шум из комнаты. Там как будто что-то двигали, катали по полу шарик, словно скоблили чем-то по стеклу, и пели.

Мы вошли в комнату.

Один из младших сыновей Петра Петровича сидел на полу. В руках он держал молоток. Он вбивал в пол гвозди. Несколько гвоздей лежало рядом с ним.

— Смотрите! — крикнул я. — Смотрите, что он делает!

— Безобразие! — сказал Пётр Петрович. — Какое безобразие! Не успел я пойти открыть вам дверь... — Он выхватил молоток у сына. — Где ты взял его?

Сын проворно встал с пола. Успел зажать гвозди в кулак.

Пётр Петрович положил молоток на стол.

— Мать ушла, — сказал он, — а они разошлись...

На столе молотка уже не было. Теперь стук раздавался из кухни.

— Одну минуточку, — сказал Пётр Петрович. Он быстро пошёл в кухню.

Из-под дивана выкатились двое других сыновей Петра Петровича.

Из другой комнаты вышел четвёртый сын. Он был постарше этих. Но младше меня. Он молча смотрел на нас. Он хотел что-то спросить. Я это чувствовал. Но он ничего не спрашивал. И я смотрел на него и тоже ничего не спрашивал.

Вдруг он сказал:

— Я рассказ написал.

Мы с Алькой переглянулись.

— Рассказ? — спросил я.

— Ага, — сказал он.

— Ну и что? — спросил я.

— Ничего, — сказал он.

Он опять стал молча смотреть на меня.

— Хочешь прочесть? — вдруг спросил он.

— Давай, — сказал я.

Он протянул мне листок.

— Вслух читай, — сказал он.

Я стал читать вслух. Этот рассказ был написан большими буквами:

РАССКАЗ В ПРОЗЕ А. П. ВОЛОШИНА

НАЗВАНИЕ «ОБИДНО»

МЫ ШЛИ ПО МОКРОМУ ПЕСКУ И ПЕЛИ: «МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЁМ,

ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВОТ УЖЕ МОРЕ ВИДНО, СИНЕЕ, БОЛЬШОЕ, С КОРАБЛИКОМ, И МЫ

ЕЩЁ ГРОМЧЕ ЗАПЕЛИ: «МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЁМ,

ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВДРУГ РАЗДАЛСЯ ГРОМ, И ВНЕЗАПНО ПОЛИЛ С ШУМОМ ДОЖДЬ.

— СТОП! — КРИКНУЛ ВОЖАТЫЙ. — НА МОРЕ МЫ НЕ ПОЙДЁМ!

НАМ БЫЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО.

Я кончил читать.

— Я ещё напишу, — сказал сын Петра Петровича. Он свернул листок вчетверо. Сунул за пазуху. Вздохнул и сказал: — Если ты хочешь знать, я громадную книгу могу написать. Только мне мешают. Слишком много шума. Скоро мы на новую квартиру переезжаем. Вот там я напишу.

В комнату вошёл Пётр Петрович. Он вёл младшего за ухо. В другой руке Пётр Петрович держал молоток. Малыш всхлипывал.

— Вы меня простите ради бога, — говорил нам Пётр Петрович, кладя на стол молоток.

— Вот этот стул я сломал, — объявил малыш.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю... — сказал он задумчиво.

— Отойди отсюда, — сказал ему Пётр Петрович.

Он отошёл к столу. Взял молоток. И пошёл на кухню.

— Ангелины Петровны нет, — сказал Пётр Петрович, — поэтому такой беспорядок...

— Ничего, — сказал я.

— Ваш сын прочёл нам рассказ, — сказал Алья.

— Он был в пионерском лагере, — сказал Пётр Петрович. — Приехал оттуда с большими впечатлениями, всё время вспоминает лагерную жизнь и пишет рассказы на эту тему, я ему в этом не перечу, пусть занимается чем хочет. Он не читал вам рассказ про самолёты?..

— Про самолёты не читал, — сказал я.

Из кухни раздавался стук.

— Чёрт возьми! — сказал Пётр Петрович. Он быстро ушёл туда.

Только сейчас я заметил самого старшего. Он сидел за маленьким столиком.

Я подошёл к нему.

Старший сын Петра Петровича рисовал какой-то странный предмет. Он даже не обернулся, только закрыл рукою лист.

— Не мешайте, пожалуйста, — сказал он.

Вошла Ангелина Петровна. Я сразу понял это. Мы с Алякой с ней поздоровались. Она поздоровалась с нами.

Появился Пётр Петрович. В руках он держал молоток.

— Вы не стесняйтесь, — сказал он нам, — вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот выпьем чайку, а потом я кое-что покажу вам, как истинным ценителям искусства. Садитесь за стол, не обращайтесь внимания на весь этот шум...

Пётр Петрович положил на стол молоток.

Я всё смотрел по сторонам. На стенах было много репродукций. Тут были люди в шлемах, и туманные пейзажи, и какие-то красавицы, и были кони, и лодка, мчавшаяся по волнам с людьми. А под самым потолком висела незаконченная; наверное, та самая картина, о которой нам говорил Пётр Петрович.

Все сели за стол.

Только старший сын сидел за своим маленьким столиком. Он всё рисовал.

— Вот этот, — вдруг сказал Пётр Петрович, показывая на старшего сына, — учится в художественном училище. Рисует специально, умышленно какую-то безграмотную чепуху и уверяет, что это и есть самое прекрасное на свете искусство. Уверяет, что это какое-то движение вперёд, что-то неизмеримо космическое, что-то недостижимое, какой-то, в общем, модерн... я вам сейчас покажу!

Пётр Петрович встал, ушёл в другую комнату.

Младший сын Петра Петровича дёргал меня за штанину.

— Нигая, нигая, нигая... — повторял он.

— Что он говорит? — спросил я.

— Он пьёт чай, — сказала Ангелина Петровна, улыбаясь, — и рад сообщить всем, что чай совсем не горячий.

— Ялад, ялад, ялад, — сказал младший.

— Он сообщает всем, что он рад по этому поводу, — сообщила Ангелина Петровна.

— Ну, так вот, — сказал Пётр Петрович, неся в руках маленький холстик. Он поставил его на стул. — Вот до чего можно докатиться! Разумеется, его этому не учат.

— Что это такое? — спросил я.

— Это мой портрет! — сказал Пётр Петрович. — Творение рук вот этого молодого человека! — Пётр Петрович показал на старшего. — И он уверяет меня, что это я! Вот этот кубик и этот красный квадрат — это я! До чего можно дойти, до чего доработаться, что своего родного отца представлять в таком виде! А я ведь ему позировал. Сидел. Он ведь меня с натуры рисовал. «Не двигайся, — говорит, — папа, а то не получится!» Смотрел на меня, рисовал — и нарисовал вот этот кубик и квадрат! Ведь это полное пренебрежение к человеку, не говоря уже об отце! Он, выходит, на меня не смотрел, когда рисовал. Его голова была забита какими-то ничтожными мыслями — всех на свете удивить, показать всем и всякому, какой он оригинал!

Старший сын Петра Петровича всё так же не поворачивался. Он сидел всё так же спиной.

— Успокойся, пожалуйста, — сказала Ангелина Петровна.

Пётр Петрович махнул рукой.

— Атечик! Атечик! Атечик! — кричал младший сын Петра Петровича.

— Это он так отца зовёт, — сказала Ангелина Петровна.

Внимательно смотрел на молоток другой сын Петра Петровича.

Я смотрел на портрет. Я не мог понять, почему старший сын Петра Петровича так нарисовал своего отца. Я хотел, чтобы он повернулся, чтобы можно было посмотреть на него.

Он вдруг повернулся.

Он был похож на Петра Петровича. Как будто это Пётр Петрович совсем молодой. Только волосы у него были длиннющие. Он сказал:

— Вот это поколение поймёт меня! — Он показал на нас.

— Это бред! — сказал Пётр Петрович.

— Это гениально! — сказал сын Петра Петровича.

— Это глупость, — сказал Пётр Петрович. — С каким уважением малые голландцы оттачивали селёдочные головы, и с каким пренебрежением ты относишься к своему отцу...

— Это логически построенное композиционное решение, — сказал сын Петра Петровича. — Я должен иметь своё «я»!

— Кошмар! — сказал Пётр Петрович. Он схватился за голову. — Иметь, но не совать всем в нос!

— Бузылюки! — сказал младший сын Петра Петровича.

— А Пикассо? — спросил старший сын Петра Петровича.

— Аколоко! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Принеси ему из кухни молоко, — сказала Ангелина Петровна одному из сыновей.

— Вечный спор, — сказал Пётр Петрович. Он не хотел разговаривать.

— Кто такой Пикассо? — спросил я.

— Один художник, — сказал Алька. — Мне о нём рассказывал один художник.

— Но я могу экспериментировать? — спросил сын Петра Петровича.

— Можешь, — сказал Пётр Петрович. — Можешь. Только я тебе позировать не буду. И они тоже, — он показал на нас, — они тоже тебе позировать не будут.

— Не будем! — заорали мы с Алькой.

Старший сын Петра Петровича зло на нас посмотрел.

— Вы ещё запоёте! — сказал он.

— Ты сам запоёшь, — сказали мы. (Здорово смело мы ему сказали!)

Он показал нам кулак. Мы сделали вид, что не видим.

— Хочу мильдиди! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Это он купаться хочет, — сказала Ангелина Петровна.

— Ди-ко-ко! — сказал младший сын.

— Это слово мне незнакомо, — сказала Ангелина Петровна.

Пронеслись по комнате два других сына Петра Петровича.

Исчез со стола молоток.

Я смотрел на картину Петра Петровича, подвешенную к потолку. Она висела как-то боком, криво, и я, наклонив голову, рассматривал на ней людей, переплывающих реку, и танки.

— Пойдёмте-ка со мной, — сказал Пётр Петрович, вставая, — я хочу вам кое-что показать.

Мы прошли с ним в другую комнату.

Из кухни раздавался стук. Один из сыновей Петра Петровича продолжал вбивать куда-то гвозди...

Великие мастера

— Я вам сейчас покажу великих мастеров, — сказал Пётр Петрович.

Он взял с полки альбом.

— Попал я с фронта в Ленинград. Нева во льду. Метель метёт. Блокада. Иду я по Неве к Академии художеств. Захожу в вестибюль. Печурка. Сидят люди, греются. Худые, бледные лица. Сидят, греются и молчат. Я говорю: «Хочется мне повидать своего учителя Осьмеркина. Я у него до войны учился. Как бы мне повидать его?» Мне говорят: «Повидать его можно. Только он недавно в Эрмитаж ушёл». — «Бросьте, — говорю, — тут шутки шутить, какой тут может быть Эрмитаж! Кругом один голод и холод». Мне спокойно говорят: «Он очень любит великих мастеров смотреть. Вы его ещё догоните. Он медленно ходит». Догоняю его. Еле-еле с палочкой идёт он по широкой набережной. Снег вокруг метёт что есть силы. И шарф его, помню, по ветру трепещет... Вгляделся он в меня и говорит: «Петечка, ты? Очень рад, что я тебя встретил. Мы сейчас с тобой великих мастеров пойдём смотреть...»

Пётр Петрович ходил из угла в угол.

Мы рассматривали альбом с великими мастерами.

Пётр Петрович говорил:

— Рембрандт! Запомните это имя! Эти руки старухи... целая жизнь человека в этих руках!.. такие руки мог написать только Рембрандт!.. Его автопортрет... Старик Рембрандт улыбается... прищурившись, смотрит на нас... Рембрандт стар. Но он помнит те времена: толпится зная Амстердама в его мастерской, гогочут и возмущаются: не нравится им, как Рембрандт их изобразил! «Посмотрите на свои свиные рожи, — говорит им Рембрандт, — и вы увидите, что я прав!» Рембрандт видел их такими, какие они на самом деле. Скандал! Тычут в картину палками... Он не стал свою картину исправлять, не стал... Вот почему старик Рембрандт улыбается. «Хе-хе! — говорит он. — Не удалось вам меня провести...»

...Делакруа! Чистый цвет! Романтика!.. «Охота на льва!» «Дерущиеся лошади!» «Марокканская фантазия!» — несутся всадники на фоне гор... лодка в бушующем море... У этого человека было солнце в голове и буря в сердце! Запомните это имя!

Рафаэль!.. Гениально!.. Линии поют... благородство, человечность, красота... Великие мастера! Великое искусство! Запомните их имена!.. Я понимаю, всё это слова... Тут просто словами не объяснишь... Кстати, сравните «Мадонну Сикстинскую» вот с этой, другого художника... и всё не то! Не то всё! Не то! В том-то всё и дело... Хотя и тут всё правильно... всё нарисовано... Такие сравнения полезны... они вносят ясность. Ведь всё относительно, а Рафаэль — вершина! К вершине нужно стремиться!

...Запомните это имя! Тинторетто! Удивительно! Потрясающе!.. Когда Суриков был в Венеции, он там увидел холсты Тинторетто. «Я слышу свист мантий!» — воскликнул Суриков. Высочайшее мастерство... Всё в холсте словно движется... Всё как будто просто... Кажется, вот возьмёшь кисть — и сам напишешь точно так же... до того всё кажется просто! Не видишь труда... не думаешь о том, как это трудно... Написано сердцем, вот в чём дело! И начинаешь верить, глядя на Тинторетто, что когда-нибудь сам возьмёшь и напишешь вот так, как захочешь... Гений не подавляет. Не бьёт по башке, как это думают некоторые... Он вливает в тебя бодрость духа... Это удивительно!

...Рублёв! Запомните это имя!!!

Пётр Петрович говорил откуда-то из угла комнаты. Будто он говорил сам себе. Некоторые слова он выкрикивал, а некоторые говорил тихо. Картины были замечательные, это верно. Но я не видел, чтобы пели линии. Не видел, чтобы в холсте у Тинторетто что-нибудь двигалось. Не мог я понять, почему один Рембрандт мог написать такие руки! Алька тоже не видел этого. Хотя он повторял: «Да, да!» — словно он понимал всё. А между тем, думал я, наверное, всё это есть там, в этих картинах. И линии там, наверное, поют, и люди у Тинторетто движутся, и мантии свистят у Тинторетто... Всё это, наверное, есть там, раз Пётр Петрович видит это. А я не вижу...

— ...При жизни он не был известным... вот что любопытно... Очень любопытно... древнерусские даже фамилий своих не подписали на своих работах... Какое имеет значение в конце концов, кем эта работа сделана?.. Важно, что она сделана!..

.....

— ...Александр Иванов! Запомните это имя!..

.....

— Не этот кубик и квадрат!..

Пётр Петрович похлопал меня по плечу:

— Нужно соображать!

Он опять похлопал меня по плечу.

— Понятно? — спросил он.

— Понятно, — сказал я.

Я сказал это так тихо, что он, наверное, не слышал.

Когда мы с Алькой уходили, я вдруг вспомнил, что хотел спросить, что это за малые голландцы, которые оттачивали селёдочные головы...

Хотел спросить и не спросил.

Сон

Таинственно освещённый Рембрандт вышел из коричневого тумана. Перо на шляпе светило в тени.

Я сел на кровати и спросил:

— Скажите, пожалуйста, вы рисовали на асфальте?

Улыбнулся Рафаэль в пространстве...

Рембрандт улыбнулся Рафаэлю...

Вихрем на коне пронёсся Эжен Делакруа...

Что-то зазвенело и затрещало. Из-за этого звона и треска никто не услышал меня. Старший сын Петра Петровича шёл напролом через что-то твёрдое, которое гнулось и трещало. И это твёрдое было пространство. В одной руке старший сын Петра Петровича держал кубик, а в другой — красный квадрат. Он старался протиснуть квадрат в какое-то отверстие в пространстве...

Я спросил в третий раз то же самое.

Старший сын Петра Петровича втискивал свой квадрат, и треск стоял ужасный.

И опять меня не было слышно.

Издали донёсся голос Петра Петровича:

— Запомните их имена!..

Засвистел ветер со страшной силой. Улетел старший сын Петра Петровича куда-то вдаль. В вихре кружились квадрат и кубик.

— Подписывать фамилии вовсе не обязательно! — сказал громкий голос Рублёва.

Рембрандт проткнул квадрат шпагой.

Тинторетто, закутанный в плащ, сел на кубик.

— Мильдиди! — смеялся младший сын Петра Петровича. Он смеялся тоненько, как колокольчик.

Проплыл в воздухе молоток.

— Я должен иметь своё «я»! — орал откуда-то сверху старший сын Петра Петровича.

— Скажите, кто из вас рисовал на асфальте? — спросил я.

И опять меня не было слышно. Старший сын Петра Петровича так орал про то, что он должен иметь своё «я», только его было слышно.

Ворвался яркий свет. Как будто мама утром отдёрнула шторы.

Все стали уходить. Рафаэль — обнявшись с Рембрантом. Делакруа — обнявшись с Тинторетто...

Откуда-то сверху грохнулся на квадрат старший сын Петра Петровича. Квадрат развалился вдребезги.

Смеялся младший сын Петра Петровича, как колокольчик.

Больше не было треска. Была только тишина. Только звенел колокольчик. Всё тише и тише...

Кобальт фиолетовый

Старший сын Петра Петровича стоял в коридоре. А я как раз вышел из класса. Он позвал меня:

— Послушай, а ты не знаешь, где мой отец?

Я ему не хотел сначала отвечать, а потом говорю:

— Не знаю.

— В каком он классе сейчас, ты не знаешь?

— Не знаю, — говорю.

— Послушай, — говорит, — у тебя, кажется, целый склад рам. Это правда?

— А что?

— Значит, правда, — говорит. — Давай меняться. На масляные краски. Я тебе красок дам. А ты мне раму. Очень мне, до зарезу, вот так, рама нужна. Нужно мне портрет отца в раму вставить. В раме он совсем по-другому смотреться будет. Рама — это всё равно что платье для человека... Да ну, ты всё равно ничего не понимаешь, чего с тобой разговаривать...

Я хотел уйти, а он меня остановил.

— Да ладно, — говорит, — подожди ты. Будешь меняться или нет? Напишешь масляную картину. Что, плохо, что ли? Очень даже хорошо. Я, понимаешь, хочу у отца деньги попросить. Для этого, собственно говоря, я и пришёл сюда. Раму, понимаешь, нужно мне купить. Да он может не дать мне денег. Да, может, у него и нету. Ты не знаешь, где мой отец?

Насчёт красок я здорово задумался. Настоящая масляная картина... Великие мастера...

— А сколько ты мне красок дашь? — спрашиваю.

— Пойдём, — говорит, — посмотрим твои рамы.

— У меня, — говорю, — урок должен быть.

— Да плюнь ты, — говорит, — на урок, раз такое дело.

— Я так не могу, как же я так могу...

— Чего-нибудь скажешь: зуб, скажешь, болел или там печёнка, селезёнка, подумаешь!

— Как же так, я так не могу...

— Никудышный ты человек, — говорит. — Масляные краски. Большие такие тюбики. Разные цвета. Синие, оранжевые, зелёные...

— А кисточки у тебя есть? — говорю.

— Найдётся, — говорит. — Какая-нибудь облезлая кисточка найдётся.

Ему, видно, очень рама была нужна. Он меня всё-таки уговорил. Я ещё никогда в жизни с уроков не уходил. А тут взял и ушёл.

Мы с ним прямо к нам пошли.

Отца с матерью не было. Он по всей квартире ходил и орал:

— Шикарно живёшь, кочерыжка! Шикарно!

— Почему шикарно? — спросил я.

— Площадь, — орал он, — площадь! Шикарная площадь! И нет стариков!

Он стал рассматривать мои рамы.

Выбрал одну. Измерять стал. Подойдёт ли она к его портрету.

— Так тебе сколько красок? — спросил он.

— Все цвета, — сказал я.

Он присвистнул.

— Много, — сказал он.

— Мне нужны все, — сказал я. — Или мне ничего не нужно.

— И кобальт фиолетовый? — спросил он.

— И кобальт фиолетовый.

— Не могу, — сказал он. — Все краски, кроме кобальта фиолетового.

Если бы он не сказал мне про этот кобальт, я бы не стал его требовать. Я и не слышал даже, что такая краска на свете есть. Но раз ему так жалко этот кобальт, значит, это самая красивая, самая замечательная краска...

Он вздохнул.

— Ну ладно, — сказал он. — Половину кобальта фиолетового.

Он опять вздохнул.

— И зачем тебе этот кобальт фиолетовый сдался, не пойму!

— А тебе он зачем сдался?

— Мне он вот так, понимаешь, по горло, нужен...

— И мне нужен, — сказал я.

— Ни черта он тебе не нужен, — сказал он.

Вот, думаю, хитрый человек! Ему, видите ли, нужен этот кобальт, а мне не нужен? Интересно, почему это он ему так понадобился? Неужели без такой краски обойтись нельзя? Наверное, нельзя, раз он так за эту краску цепляется.

— Вполне ты мог бы обойтись без этого кобальта фиолетового, — сказал он.

— Нет, — сказал я. — Не мог бы.

Он всё рассматривал раму.

— Нету ли у тебя какой-нибудь маленькой палитры? — спросил я. — Может быть, у тебя есть какая-нибудь маленькая палитра?

— Ничего у меня нет, — сказал он.

— Где же мне взять палитру?

— Фанерку. Возьми фанерку. И всё.

— А чем я буду краски разводить?

— Какое мне дело, чем ты будешь краски разводить?

— Как же мне их разводить?

— Керосином, — сказал он. — Из керосинки.

— И всё? — спросил я.

— И всё.

— А кисти?

— Что кисти?

— Где мне взять кисти?

— Какое мне дело? Какое мне до этого дело! — заорал он.

— Но где же мне взять их?

Он почему-то стал говорить мне на ухо:

— Клок волос. Своих собственных. Подравнять. Подстричь. Перевязать. Ниточкой. На палочку. И всё! Понял? Секрет. Ясно? Что я буду иметь за это изобретение?

— Выходит, я тогда сколько угодно кистей могу сделать?

— Сколько угодно, — сказал он. — Собственный завод.

— И это всё?

— Всё.

— А холст?

— Что холст?

— Где мне взять холст?

Он захихикал:

— Какое мне дело! Боже мой, какое мне дело!

— Но где же мне взять его? — Я на него просто умоляюще посмотрел. Не знал я, где эти холсты берут. Он-то знал ведь. Он мог ведь сказать.

— Картонку, — сказал он. — Возьми картонку. Помажь её клеем. Столярным. И всё.

Мы взяли раму и пошли к ним. Я подождал внизу, а он мне вынес краски. Может, там были не все цвета, но кобальт фиолетовый там был. Это я сразу проверил. Я отвинтил крышечку тюбика и выдавил этого кобальта себе на палец. Вот это краска! Сиреневая-сиреневая! Жуть какая красивая. Теперь-то я понимаю, почему он мне эту краску давать не хотел.

«Летучий голландец»

Когда я стригся в парикмахерской, меня спросили:

— Это ты в том окне живёшь?

Я удивился и сказал:

— Я.

— Что ты там всё время крутишься и руками машешь?

— А разве видно? — спросил я.

— Ещё бы!

— Я картину пишу, — сказал я. — Два дня я пишу картину. Но у меня пока не очень получается.

Я здорово, наверное, вертелся вокруг своей картонки. Махал кистью так, что вся стена стала в брызгах. Тряпкой крутил, как пропеллером. Разбегался и — бац! бац! — на холст краску! Прямо с разбегу мазки клал. Должна же быть у меня буря в сердце, как у того Делакруа! Он тоже, наверное, не стоял как дохлый возле своей картины. Он, наверное, так же, как и я, на месте не мог устоять.

— Как юла, — сказал парикмахер, — крутишься ты как юла.

— Сейчас кручусь? — спросил я.

— Да нет. В окне крутишься. Целый день крутишься. Чего это, думаю, там крутится? Что бы, думаю, это могло быть?..

— Картину пишу, — сказал я.

— Теперь-то я понял.

— «Летучего голландца», — сказал я.

— Ну-ну.

— Трудная работа.

— Ну-ну.

Он стриг меня и улыбался. Может быть, он не верил, что я картину пишу.

— Ну, всё, — сказал он. — Иди. Пиши свою картину.

Тут я его спросил:

— Волосы вам нужны?

— Какие волосы? — удивился он.

— Мои, — говорю.

— Ничего не понимаю, — говорит.

— Вот эти, мои собственные, с моей головы... — И на пол пальцем показываю.

Он пожал плечами:

— Совершенно не нужно. Бери сколько твоей душе угодно, любые волосы с любой головы.

Я помчался домой. Это меня мама от картины оторвала. «Иди, — говорит, — стригись». Как будто я в другой раз подстричься не мог.

Когда творческого работника от работы отвлекают — это самое страшное дело. Нам Пётр Петрович рассказывал, как одного ужасно талантливого художника от работы отвлекали. Друзья его всё время отвлекали от работы, и всё! И он с ними отвлекался. Так потом он погиб. То есть сам он не погиб. Талант его погиб. Погубили друзья человека. Они его, представьте, водкой всё время угощали. Вот ведь какие друзья были, а? Не дай бог мне таких друзей иметь в своей жизни...

...Море синее и зелёное. Никогда я не думал, что столько красок пойдёт на это море. А посреди — корабль кобальтом фиолетовым. Весь кобальт фиолетовый всадил я в этот корабль! Это «Летучий голландец». Кто это мне рассказывал про «Летучего голландца»? Страшное там дело было... Куда-то исчезла команда. Один корабль остался. Вздуты его паруса на ветру. Кренятся мачты то вправо, то влево. Скрипят удивлённые снасти. Болтаются верёвочные лестницы. Мчится по волнам «Летучий голландец»...

Я глянул в окно. Парикмахер смотрел на меня. Он сидел на скамеечке возле парикмахерской и смотрел вверх. Я помахал ему. А он мне. К нему подошёл мальчишка. И он с ним ушёл в парикмахерскую.

Никак у меня волны не получались — вот что плохо. Я слышал, что, когда не получается, всю краску соскоблить нужно. Снять краску ножом. Я так третий раз уже сделал. Всю краску снимал. И снова начинал. И тут я увидел, что красок-то у меня больше нет. Кончились у меня все краски.

В это время отец подошёл. Он всё время ко мне подходил.

— Я думаю, — сказал он, — у художника должен быть какой-то метод...

— Какой метод? — спросил я.

— В любом деле, — сказал он, — должен быть метод.

— Мне нужны краски, — сказал я. — Мне ещё нужны краски. Не купишь ли ты мне ещё красок?

— А ты их намажешь на эту картонку, — сказал он, — снимешь ножом и выкинешь?

— Так все делают, — сказал я. — Все художники так делают! Если у них не получается, они эту краску снимают...

— У них-то есть метод! Не может быть, чтобы у них этого метода не было...

— Но где же мне взять его?

— Раз у тебя нет метода...

— Если бы у меня были краски, — сказал я, — я бы непременно написал это море... и «Летучего голландца»... у меня бы это всё отлично получилось...

— У тебя нет метода, — сказал отец, — ничего бы у тебя не получилось.

Я глянул в окно. Этот парикмахер стриг того мальчишку. Не пойду я больше стричься в эту парикмахерскую. Пойду где-нибудь в другом месте подстригусь. Спросит он у меня про мою картину, что я ему отвечу?

А утром придёт ко мне Алька. Он сразу утром примчится. Он непременно примчится.

Он пишет автопортрет. Сидит сейчас перед зеркалом и пишет себя масляными красками. Он, наверное, думает, что он Рембрандт! Он, наверное, так же, как Рембрандт, улыбается в это зеркало. И тень у него, наверное, такая же на лице. И беретку, наверное, на голову надел, как у Рембрандта...

Олив Нивс

Отец ходил с этим письмом по всем соседям.

— Кто может читать по-английски? — говорил он. — Кто может перевести? Как жаль, что я не умею читать по-английски.

— А что такое? — спрашивали соседи. — Что случилось?

— Моему сыну письмо из Англии! Как вы на это смотрите? Ему прислали письмо из Англии! Лично ему! Что вы на это скажете?

Соседи ничего не могли сказать. Они удивлялись.

Я получил письмо из Лондона. Я ходил за отцом и никак не мог понять, с какой это стати присылают мне письма из Лондона.

Тётя Регина привела какого-то старичка.

— Вы читаете по-английски? — спрашивал его отец. — Вы хорошо читаете по-английски?

— Да, я читаю по-английски, — сказал он, надев очки.

— А вы можете перевести? — спросил отец.

— Да, — сказал он, — я могу перевести, как это ни странно.

— В этом нет ничего странного, — сказал мой отец.

Все пошли в нашу квартиру.

Старичок взял письмо и стал читать. Он немного прочёл по-английски, а потом по-русски сказал:

— Значит, тут... вот... ага... так... ясно...

— Ничего не ясно! — сказал мой отец. Ему не терпелось скорее узнать, что там пишут мне из Лондона.

— Сейчас, — сказал старичок. — Ага...

— Ну, так что же там такое, в конце концов! — закричал мой отец. — О чём это там? Что там написано?

— Дай ему прочесть, — сказала моя мама.

Старичок снял очки, посмотрел на моего отца и сказал:

— Совершенно верно. Дайте мне прочесть. — И снова надел очки.

— Да читайте вы... — сказал отец.

Старичок читал про себя. Потом он кончил читать и сказал:

— Это письмо пишет девушка... то есть девочка... она гёрл, то есть девочка, живёт, как я понимаю, в Лондоне. И, само собой разумеется, пишет вашему сыну письмо...

— Английская девушка? Моему сыну? Этого не может быть! — сказал отец.

На отца моего закричали, и он замолчал.

— Она пишет, что видела... одну минуточку... ага!.. Видела на вернисаже... ну да... на выставке, вероятно... совершенно правильно, на выставке какую-то картину... вероятно, вашего сына... Вот именно... Картину вашего сына!..

Я чуть с ума не сошёл, когда это услышал. Это, наверное, не мне было написано, что ли? Откуда там могла быть моя картина? Ерунда какая-то...

— Ну так вот, я читаю дальше... Она... тут ясно сказано... восхищена этой замечательной картиной. И так как она сама рисует... и ещё у неё есть два кролика... Билл-чёрный и Чарли-белый... Эти кролики...

— Какие кролики? — сказал мой отец. — Чушь какая-то...

— Вот именно, кролики, — сказал старичок.

— Читайте, читайте! — закричали все.

— ...она восхищена нашими мужчинами... да, да... вот именно, которые сдерживали несметные орды... полчища, вернее... рвавшиеся на нашу землю...

— Это толково, — сказал отец, — очень толково! — Он посмотрел на мать.

— ...и ещё она очень хотела бы... да... хотела бы увидеть русскую зиму... и русский снег... и... вот именно... автора этой замечательной картины...

— Увидеть снег, — сказал мой отец, — в Баку? Это невозможно!

На отца опять закричали.

— ...она хорошо учится... в колледже... шлёт привет всем мальчикам и девочкам... Англия... Советский Союз... короче говоря, должны жить в мире... её зовут Олив Нивс...

— Олив Нивс! — сказала мама. — Это очень красиво!

— Олив Нивс! — сказал мой отец. — Звучит!

— Олив Нивс! — сказал старичок. — Вот именно.

Потом все ушли очень удивлённые и смотрели на меня, и старичок снял очки, посмотрел на меня и сказал:

— Олив Нивс, милый мой, Олив Нивс!

Я, конечно, не понял, что он хотел мне этим сказать. Я вообще ничего не понял. Я опять стал здорово моргать. Так я, наверное, ещё никогда не моргал, как в этот раз.

Когда все ушли, отец сказал мне:

— Подойди-ка сюда. И не ври. Будь честным человеком. Речь идёт о капиталистической стране. Не увиливай. Выкладывай-ка всё начистоту. Что это значит?

— Ничего не значит, — сказал я. — Откуда я знаю, что это значит?

— Не увиливай, — сказал он. — Выкладывай-ка всё начистоту.

— Чего выкладывать? — сказал я.

— Значит, не хочешь выкладывать? — сказал он.

— Оставь его в покое, — сказала мама. — Это его дело. Его разговоры с этой девушкой. Вечно ты в чужие разговоры влезает!

— Девушкой! — закричал отец. — Какой девушкой? Английской?

— Не всё ли равно? — сказала мама.

— У меня никогда не было никаких знакомых английских девушек, — сказал отец.

— Очень напрасно, — сказала мама.

— Ах вот как! — сказал отец. Он размахивал этим письмом. — Капиталистических девушек у меня не было, это верно! И никаких писем из разных там Америк, Англий, Бразилий я не получал!

— Помолчи ты, — сказала мама.

— Ну хорошо, — сказал отец, — хорошо...

— Вот и хорошо! — сказала мама.

Я потихоньку выскочил во двор.

Я сел на ступеньку и так сидел долго. На другой день утром мне принесли письмо из «Пионерской правды»:

Дорогой друг! Сообщаем тебе, что твою акварель «Танки врываются в родной город», присланную на конкурс, мы отослали в Англию на выставку, посвящённую англо-советской дружбе. Желаем тебе творческих успехов!

Второй «летучий голландец»

В этот раз я писал на холсте. Кусок мешка я натянул на табуретку. Не очень-то хорошо у меня получилось. Сначала я его на ножки натянул. Так он у меня совсем не натянулся. И я его на днище натянул.

Отец, после этого английского письма, мне краски купил. Целую коробку масляных красок.

— Хотя у тебя и нет метода, — сказал он, — но будем надеяться, что он появится...

— Писать картины лучше на площадке, — сказала мама.

Я вынес табурет на площадку.

Держа в одной руке фанерку с выдавленными красками, а в другой — кисти из собственных волос, я прошёл по нашей площадке.

— Витя, ты что, художник? — удивился дядя Садых.

— Не мешайте, — сказал я, — это дело серьёзное...

— На нашей площадке самые серьёзные люди живут, — сказал дядя Садых. — Я и Витя — самые серьёзные...

Все расступились. Я подошёл к холсту.

Я начал писать второго «Летучего голландца».

Уж на этот раз я напишу этого «Летучего голландца»!

Соседи говорили:

- Зачем краски-то столько накладываешь?
- Сколько стоит одна такая краска?
- Такую картину на базаре не продашь...
- Не толкайте его, не толкайте!..
- Отойдите от него, отойдите!..
- Не мешайте ему, не мешайте!
- Красиво-то, красиво получается!
- Где красиво получается?
- Кораблик получается!
- Где кораблик получается?
- Смотрите! Смотрите!
- Не брызгай на меня! (Это я им уже мешать стал!)
- Не махай так своей тряпкой!
- Отойдите, — сказал я, — я должен издали посмотреть.

Я отошёл от картины.

И так и эдак смотрел. Наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Щурился. Складывал пальцы в трубочку и смотрел в дырочку.

Соседи молчали.

Они тоже складывали пальцы в трубочку и смотрели в дырочку.

— А кто его знает, может быть, потом доску прибьют на наш дом. Здесь, скажут, в этом доме, жил знаменитый художник Витя Стариков...

— Как же, прибьют, ждите...

— Если про него прибьют, то про меня тоже прибьют, — сказал дядя Садых.

— Художник — это интересно...

— У меня был брат-художник, потом он утонул...

— Художники — они здорово зарабатывают...

— У меня был дядя-художник, он себе мотоцикл купил...

— Смотря какой художник...

— Вот только краски пахнут...

...У меня, по-моему, неплохо получилось. Кое-где краски жидко ложились, а кое-где густо. В одном месте прямо настоящее море получилось. Жалко только, не было кобальта фиолетового. Значит, не в каждой коробке бывает кобальт фиолетовый... И соседи меня хвалили.

Я понёс табуретку в комнату. Я был уверен, что я написал выдающуюся картину.

— Взгляни на себя в зеркало, — сказала мама.

Я взглянул на себя.

Лицо моё было красным, синим и фиолетовым...

Палитры на стенах



— Пройдитесь после уроков по всему городу, — говорил Пётр Петрович, — и сотрите эти палитры!

Это мы с Алькой ходили по городу и мелом рисовали на стенах палитры. А внутри палитры писали:

Витя!

Алик!

Рублёв!

Иванов!

Тинторетто!

Делакруа!

Рафаэль!

Рембрандт!

Мы, конечно, знали, что писать на стенах не очень хорошо. Мы всё это знали. Но как-то не думали.

— Если каждый будет, — говорил Пётр Петрович, — писать на стенах свои имена... Я понимаю ваше желание увековечить себя, так сказать, закрепить свои имена... Несколько преждевременно... не совсем, я бы сказал, благородные порывы... Мне завуч говорит: «Это не ваши там стены разрисовали?» Я говорю: «Нет, это не наши». Я думаю, мы с вами сами в этом разберёмся. Сотрите, пожалуйста, эти палитры... — Потом он сказал всему классу: — Кругом столько этих палитр... Не так-то легко от них избавиться... Может, ты, Кафаров, сможешь?

Кафаров молчал. Видно было, что он совсем не хочет помогать.

Встала самая маленькая в нашем классе Кира Велимбахова и тоненьким голосом говорит:

— Я помогу.

— Не надо нам помогать, — говорю.

— Тогда сделаем так, — сказал Пётр Петрович. — Каждый, идя в школу или из школы, наверняка встретится хотя бы с одной палитрой. Я вас прошу: сотрите её. Вот и всё. Я и сам так сделаю, когда буду проходить мимо.

— На нашем парадном нарисована такая палитра, — сказала Тася Лебедева.

— Вот, вот, — сказал Пётр Петрович, — ты её и сотри!

— Очень надо! — Тася Лебедева посмотрела на нас. — Они будут рисовать, а я буду стирать?

— Они поняли свою ошибку, — сказал Пётр Петрович, — они всё поняли.

— Пусть сами стирают, — сказал Кафаров.

— Какие вы, ребята! — сказал Пётр Петрович. — Почему я могу стирать, а вы не можете?

— На нашем парадном две палитры нарисовано было, — сказал Костя Шило, — а после их дворник стёр.

— Создают дворникам работу! — сказал Пётр Петрович.

— Пусть староста сотрёт эти палитры, — сказал кто-то.

— Вот ещё, — сказал староста.

— На нашем доме нет никакой палитры, — сказал Киршбаум.

— Ну ладно, — сказал Пётр Петрович. — Хватит. Этот разговор у нас затягивается. Он приобретает нелепый оттенок. Кстати, — он обратился ко мне, — сколько приблизительно этих палитр вы нарисовали?

— Штук сто, — сказал я.

— Может, двести, — сказал Алька.

— Безобразие, — сказал Пётр Петрович. — Форменное безобразие! Вы что же, выходит, не один день их рисовали?

— Не один, — сказал я.

— Каждый день, — сказал Алька.

— И давно вы начали эту кампанию?

— Не помню, — сказал я.

— Не помним, — сказал Алька.

— Вот уж не ожидал от вас, — сказал Пётр Петрович. — От вас я такого не ожидал...

— Мы сотрём, — сказал я.

— И я так думаю, — сказал Пётр Петрович.

О палитрах больше не говорили.

— Великие мастера любили монументальное искусство! — говорил Пётр Петрович. — Они любили размах. Размахнуться, как говорится... Росписи Рафаэля, Тьеполо, Рублёва, Микеланджело, Тинторетто... Это громадные произведения... запомните их имена!.. Микеланджело! Запомните это имя! У него была кривая шея. Он всю жизнь расписывал потолки и стены, не говоря уже о скульптурах. Попробуйте задрать вот так голову... вот таким образом... и держать её в таком положении. А он именно держал её в таком положении!.. А лежать на спине часами? Лежать на лесах и смотреть в потолок? Это не шутки, я вам скажу! Запомните это имя!..

После уроков мы пошли стирать свои палитры.

Не так-то легко было стереть их. Не стирались они, вот в чём дело. И тряпку мы взяли из класса. И тёрли вовсю. Не стираются! Две палитры мы стёрли. Кое-как стёрли. Два часа тёрли. Во двор бегали. Тряпки мочили. Рисовать-то их гораздо легче было.

— Да ну их! — говорит Алька.

— Неудобно, — говорю.

— И зачем мы их только рисовали! — говорит Алька.

Какой-то старик остановился, стоит и смотрит, как мы их стираем.

Смотрел, смотрел, потом спрашивает:

— И сколько вам за это платят?

Мы ему ничего не отвечаем и продолжаем стирать.

Он говорит:

— Не хотите ли вы сказать, что вы это делаете бесплатно?

— Мы ничего не хотим сказать, — говорит Алька. — Понятно?

Старик говорит:

— Понятно, но не совсем. — Надел очки и опять стал смотреть. Вдохнул и говорит: — Кажется, я вас с кем-то спутал. — Покачал головой и ушёл.

Он ушёл, какая-то собака стала на нас бросаться. Бросается и бросается, как будто мы её трогаем.

Когда мы эти палитры рисовали, ничего такого с нами не приключалось. Один раз только Альке по шее дали. И всё. За то, что на стенах мажем.

Кое-как хозяин этой собаки её увёл.

Он её увёл, дети стали собираться. Собираются и собираются. «Почему? Отчего? Зачем?» — и разные другие вопросы задают. Здорово они нам на нервы действовали.

Алька им кричит:

— Что здесь, цирк, что ли?

Они назад.

Только мы стирать собираемся — они опять вперёд.

— А что, — говорят, — нельзя, что ли?

Алька говорит им:

— Вы что, в школу ещё не ходите?

— Не ходим, — говорят.

— Ходили бы в школу, — говорит, — не околачивались бы тут.

— Это верно, — говорят, — не околачивались бы.

И не уходят.

В это время мне мысль в голову пришла.

— Хотите стирать? — спрашиваю.

Они как заорут все вместе:

— Хотим!

Оторвал я им половину тряпки.

— Вот вам тряпка, — говорю, — стирайте. Задание вам такое даётся.

— Спасибо! — кричат.

Они этого как будто и ждали. Алик мне говорит:

— Давай им свои тряпки отдадим. Пусть они всё стирают. Пусть они ходят и стирают.

Отдали мы им наши тряпки.

Они так были рады, как будто мы им игрушки дали.

— Как увидите, — говорит Алька, — вот такую палитру, стирайте её немедленно!

— Сотрём! — заорали малыши.

— И другим скажите, пусть тоже стирают.

— Скажем! — заорали малыши.

— Ура! — крикнул Алька.

— Ура! — заорали малыши.

И мы с Алькой отправились по домам.

Выстрел

Подходит ко мне на улице Ыгышка и говорит:

— Послушай, хочешь я тебе уши отверну?

Ни с того ни с сего вдруг подходит. Такие вещи мне говорит. Зло меня взяло ужасное.

— За что? — говорю.

— Ыгы! — говорит.

— Чего? — говорю.

— Художник! — говорит. — Тоже мне, художник!

— Тебе чего? — говорю.

— Отверну, — говорит, — уши, и всё. Ыгы.

Ну чего ему сказать? Совершенно не знаю, чего ему сказать. Смотрю на него и ничего не говорю.

— Свои рисуночки даришь? — говорит. — Ыгы?

— Какие рисуночки?

— Сам знаешь! — говорит.

— Не дарил, — говорю я, — никому никаких рисуночков.

— Ыгы, — говорит, — понятно. А Лебедевой тоже не дарил?

— Отстань, — говорю.

— Ыгы, — говорит, — как раз!

Я хотел уйти, а он мне дорогу загораживает.

— Клянись, — говорит, — что больше рисуночков своих дарить не будешь.

— Захочу — буду, а захочу — не буду. Какое твоё дело? — говорю.

— Ыгы, — говорит. — Здесь не ходи. И там не ходи. Нигде здесь не ходи. А то... Ыгы. Ясно? Не встречайся мне. Ясно? Ыгы.

— Ясно, — говорю.

Что я ещё сказать могу? Ходить, конечно, я здесь всё равно буду. Где же ещё ходить? Негде мне в другом месте ходить. Что же мне, школу из-за него бросать, что ли? Дороги-то ведь другой нету. Глупости он, конечно, говорит. А неприятно. Очень всё-таки неприятно, когда вот такой здоровенный тип на дороге встречается. И завтра встретит. Неприятности у меня, неприятности. Я шёл и думал про эти неприятности. Да только чего тут придумаешь? Не буду же я маме жаловаться. Или там папе. Никому не буду жаловаться. Не люблю я эту манеру — жаловаться.

Так я ничего и не придумал. Иду опять в школу этой же дорогой. Идти мне, конечно, неприятно. Выскочит сейчас этот тип здоровенный. С этим своим «ыгы». Очень всё это нехорошо получается. Другие люди как-то живут ничего себе. Никто им на дороге не встречается. Ходят они себе спокойно. И ни о чём таком не думают...

В это время мне кто-то гайку в спину кинул. Здоровенную такую гайку. Так по спине трахнули, что я чуть не сел. Хотел я сначала бежать, а потом думаю: «Если я так каждый день бегать буду, ничего хорошего не будет. Такую гайку мне совершенно спокойно можно вдогонку кинуть. Тут беги не беги — всё равно».

В это время этот Ыгы выходит.

— Ыгы, — говорит, — как дела?

А его дружок в это время мне под ноги лёг. Быстро так. Этот тип меня в спину толкнул. Я — сразу в пыль.

Стоят они и смеются.

— Не ходи ты здесь, — говорят. — Милостью тебя просим. Нельзя здесь тебе ходить. Не разрешается. Пропуска у тебя нету? Нету. А ты без пропуска ходишь. Ты что, шпион, что ли, без пропуска ходишь?

Разную такую они мне глупость стали говорить. И хохочут оба.

Я поднялся — и трах портфелем по башке этому Ыгышке! Он даже не ожидал. Дружок его почему-то сразу убежал. А он меня за руку схватил. «Ну, — думаю, — сейчас он мне даст как следует».

В это время учителя проходили. И он меня отпустил. Я сейчас же, конечно, бегом.

После уроков смотрю во двор. Так и есть — ждёт. А с ним двое. Меня дожидаются. Прогуливаются по двору. Руки в карманах. И на наше окно поглядывают.

Я к ним, конечно, не вышел. Не такой я дурак, чтоб к ним выйти. Я вылез через окно. Пошёл в другой класс. Совсем с другой стороны вылез. Гляжу во двор: ходят они, руки в карманах.

Я вдруг сразу решил, что мне с ним делать.

Замечательный пробочный пистолет лежал у меня дома. Лежал у меня этот пистолет в ящике. Вместе с поломанными, старыми игрушками. Раньше я из него с утра до вечера стрелял. А потом надоел он мне. Из такого пистолета ничего не вылетает. Эта пробка тут же падает после выстрела. Но гремит он здорово. И огонь из дула вылетает, и дым.

Теперь-то я спал спокойно.

А утром положил я этот заряженный пробкой пистолет в карман.

Не успел я на улицу выйти, как он у меня в кармане выстрелил. Дым из кармана вовсю повалил. Какая-то старушка рядом шла, так она чуть не упала со страха.

Пришлось мне домой идти. Новой пробкой заряжать свой пробочный пистолет.

И вот я иду по той же улице. Где мне ходить не положено. Иду без всякого пропуска. Держу одну руку в кармане. И лежит у меня там заряженный пробочный пистолет. И никто не знает, что у меня в кармане. И они тоже не знают. Вон стоят трое. Ждут. Улыбаются. Они о том думают, как будут мне сейчас разные обидные вещи говорить. Про разные там дурацкие пропуска. Про то, что мне здесь ходить не разрешается. Они, наверное, думают, как опять толкнут меня. И я в пыль полечу. А они будут смеяться. Не знают они, дураки, что лежит у меня в кармане!

Я подходил к ним, а они закрыли дорогу. И руки тоже в карманах держат; можно подумать, что у них там тоже пробочные пистолеты. Я подошёл к ним, остановился, пальцем их поманил и говорю:

— Идите, идите сюда...

Они удивились, друг на друга посмотрели и медленно пошли на меня. А я медленно иду назад, а руку держу в кармане. «Только бы, — думаю, — пистолет у меня в кармане не выстрелил, как в тот раз».

Я решил их куда-нибудь в парадное завести и там в них выстрелить. Почему-то мне показалось, что нужно обязательно куда-то завести. Очень уж я был уверен в своём пистолете.

— Идите, — говорю, — идите, не стесняйтесь...

Этот Ыгы говорит:

— Да что с ним разговаривать, ребята, чего он голову морочит...

— Идите, идите сюда, — говорю я, — идите...

«Если, — думаю, — они на меня бросятся, я в них сейчас же выстрелю. Вытащу пистолет и прямо в них выстрелю». Очень я был в своём пистолете уверен.

Нет, они почему-то на меня не бросились. Или они что-то недоброе почувствовали, или ещё что, только они вдруг остановились.

Ыгы говорит:

— Ты что, очумел, что ли?

— Молчи, болван, — говорю.

Он прямо опешил.

— Вот это да! — говорит.

— Ыгышка, — говорю, — чёртовая! Кочерыжка! Балаболка! Ыгышка!

Он прямо весь побледнел. Оттолкнул этих своих приятелей и говорит:

— Я с ним сейчас сам разделаюсь. Я ему сейчас его дурацкие уши оторву!

А я говорю:

— Ишь ты какой, Ыгышка! Иди-ка сюда!

«Если, — думаю, — он на меня сейчас полезет, я в него сейчас же выстрелю. А так всё-таки лучше его куда-нибудь в парадное затащить».

И я приближаюсь задом к парадному. А он идёт за мной. И лицо у него какое-то странное. Он сам как будто не может понять, в чём дело. Что-то он всё-таки почувствовал. Потому что не очень спешил. Но в парадное он всё-таки зашёл. А дружки его на улице остались.

Я задом поднимался по лестнице, а он за мной поднимался.

— Иди, иди, — говорил я, — иди...

Я всё поднимался, а тут я вперёд шагнул. Навстречу ему шагнул на одну ступеньку. И пистолет свой я вытащил осторожно, чтоб он раньше времени не выстрелил. Он, по-моему, даже не заметил, когда я его вытаскивал. Он всё на меня смотрел. И рот свой кривил. Пугал он меня своим кривым ртом, что ли?

Тут я в него и выстрелил.

Ну и грохнул же мой пистолет! Как пушка.

Он так закричал, как будто решил, что он убитый. Лицо у него в этот момент — не объяснишь! Глаза были раскрытые, как будто сейчас выскочат. Я не очень-то на него смотрел в этот момент. Я только о том думал, чтобы мой пистолет выстрелил. Но всё-таки я заметил, какое у него было испуганное лицо.

Потом он повернулся. И выбежал.

Я вышел за ним.

Он бежал что есть духу по улице, а за ним бежали его дружки. Эта улица была длинная. И вверх. Так они мчались по ней как сумасшедшие. Как будто я вслед им ещё стрелять собираюсь. Я им вслед смотрел до тех пор, пока они за углом не скрылись. Они, наверное, и там ещё бежали, честное слово!

Из парадного вышел дядька. Он был в пижаме.

— Что-нибудь произошло? — спросил он.

— Ничего не произошло, — сказал я.

— А почему пахнет? — спросил он.

— Где пахнет? — спросил я.

— Серой пахнет, — сказал он, — и выстрел был. Я слышал.

— Где был выстрел? — спросил я.

— А ты не слышал? — спросил он.

— Я ничего не слышал, — сказал я.

— Странно, — сказал он, — очень странно...

И он ушёл обратно в своё парадное.

Штаны

Мать постирала мои штаны, повесила сушиться над газом, они свалились в огонь и сгорели. Хорошо, что не было пожара! Но я остался без штанов...

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она...

Я стоял в трусах, прислонившись к шкафу, вертел перед носом цепочкой от настенных часов и орал на весь дом это стихотворение.

Мне представились поезда, которые мчатся на север. Паровозы гудят. В одном поезде еду я. Настроение у меня очень радостное. Еду я в первом вагоне и на повороте вижу весь поезд, как он изогнулся дугой. Там, вдали, Алька, Кафаров, Тася... И даже Ыгышка... Они машут мне... А я мчусь на север. Где льды и снег. И напишу картину с северным сиянием...

И снится ей всё, что в пустыне далёкой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горячем
Прекрасная пальма растёт...

...И всё северное ушло куда-то в сторону, поезда помчались в обратном направлении — я еду в обратную сторону. Поезд блестит на солнце, как будто серебряный, и солнечные зайчики прыгают по траве и по виноградникам... И Тася, и Алька, и Кафаров встречают меня, и даже Ыгышка встречает меня со своими друзьями...

Когда стихотворение кончалось, я начинал сначала.

Очень нравилось мне это стихотворение!

Мать пошла покупать мне штаны. А я остался. Я не мог даже с ней пойти, чтобы эти штаны примерить. Не могу же я с ней идти в трусах по всему городу. У меня были ещё штаны. Мать перерыла весь дом, но штаны как будто в воду канули. Как будто они испарились. Были почти новые парусиновые штаны, куда они задевались? Это просто чудо какое-то: куда могли деться мои штаны?

И снится ей всё, что в пустыне далёкой...

...Идут верблюды, и звенят колокольчики, подвешенные им на шею... А пески, наверное, как волны... Громадные такие волны... Ветер дует, и песок стелется по этим волнам...

Какой раз я уже читаю это стихотворение!

Цепочка наматывается на палец и разматывается...

Звенят колокольчики, гудят паровозы, мчатся поезда...

Очень нравится мне это стихотворение!

И вдруг я вспомнил, что из парусиновых штанов мама сшила мне курточку, которая на мне...

Окно

Никогда ещё я не видел такого красивого света в окне. И никогда я не видел такого красивого абажура. Абажур был сиреневый. А лампочка там, наверное, была красноватая. Никогда я не видел такого красивого цвета — это уж точно!

Мы с Кафаровым раза два прошли мимо этого окна. Мы вовсю задирали головы, но так и не увидели там Таси Лебедевой.

Свет из окна освещал деревья. Небо было черно. И дул ветер.

— Может быть, она не там живёт? — спросил я.

— Я-то знаю! — сказал Кафаров.

Почему-то мне стало обидно, что я этого не знаю, а он знает.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Пойдём-ка на ту сторону, — сказал он.

Мы пошли на ту сторону.

Стоя на той стороне, мы вовсю глазели в окно.

— Сейчас она появится, — говорил Кафаров.

— А может, не появится? — говорил я.

— Не может быть, — говорил Кафаров.

— Откуда ты знаешь? — говорил я.

Потом мы сели.

— Мы ведь её сегодня в классе видели... — сказал я.

— Ну и что? — сказал он.

— И завтра увидим, — сказал я.

— Ну и что?

Он даже меня слушать не хотел.

— Гляди-ка! Гляди! — крикнул он.

Там в окне что-то мелькнуло.

— Ты уверен, что это она? — спросил я.

— Конечно!

— А вдруг это её отец?

— Да ну тебя! — сказал он. — Что же, у него в волосах банты, что ли?

— Никаких бантов я не видел, — сказал я.

— А я видел, — сказал он.

— Не было бантов. По-моему, там усы были.

— Это были банты, — сказал он. — Два банта.

— Хорошо, — сказал я. — Были банты.

На окно вышла кошка. Она смотрела на нас. Как будто она специально для этого вышла, чтобы на нас посмотреть. С соседнего балкона на кошку стала лаять собака. Кошка не обращала никакого внимания на собаку. Она, наверное, понимала, что собака не могла её достать.

— Всё-таки мы её видели, — сказал он.

— Это мы отца её видели, — сказал я. — Гляди-ка! Гляди! — крикнул я.

Кто-то рукой задел абажур, и он стал слегка качаться. По занавеске заходили тени. Словно вся комната ожила. Вся комната закачалась...

— Не видел? — спросил я.

— А ты видел? — спросил Кафаров.

— Не то видел, не то не видел, — сказал я.

— По-моему, я видел, — сказал Кафаров.

— Тень? — спросил я.

— Тень, — сказал Кафаров.

— На занавеске?

— На занавеске.

— А может, это не она?

— Я видел банты, — сказал он.

— Не было там никаких бантов.

Сейчас-то я видел ясно. Ему просто мерещились эти банты!

— Два банта, — сказал Кафаров, — два больших банта...

— Может, это бабушка или мать, — сказал я.

— Сам ты бабушка, — сказал он.

Он был уверен, что это была она. Он в этом был совершенно уверен.

И тут мы её увидели.

Она быстро прошла мимо нас. Перешла на ту сторону. Махнула кошке рукой. И вошла в своё парадное. Два громадных банта качались на её голове...

Записка

Младший сын Петра Петровича укусил собаку. Он пошёл с мамой в магазин. Мама подошла к прилавку. А его отпустила. А около двери сидела собака. Она ждала хозяина. Младший сын Петра Петровича подошёл к собаке и укусил её. Собака страшно завизжала, а малыш испугался и заплакал. Ангелина Петровна закричала: «Уберите собаку! Она укусила моего сына!» В это время какой-то дядька говорит: «Ничего подобного! Собака не трогала вашего сына. Она спокойно сидела. Она никого не трогала. Я видел! Ваш сын подошёл и укусил её!» Все стали говорить, что не может быть, чтобы такой маленький ребёнок укусил такую большую собаку. А тот дядька говорит: «Вы мне не верите? Ах, значит, вы мне не верите? Смотрите, как он это сделал! Он подошёл к собаке, я же видел, граждане! Он подошёл к ней вот так...» И дядька хотел показать, как младший сын Петра Петровича подошёл к собаке. В это время испуганная собака подумала, что с ней хотят что-то сделать, и она, не долго думая, укусила этого дядьку за нос. Дядька страшно заорал, а хозяин собаки говорит: «Зачем вы лезли к собаке? Скажите! Зачем вы к ней лезли? Она вас трогала? Не трогала! Тогда зачем вы к ней лезли?..»

Всё это Пётр Петрович нам рассказывал, и мы смеялись. Пётр Петрович всегда очень смешно рассказывал...

— Если мы возьмём икс, — говорит Мария Николаевна, — если мы возьмём икс!..

Я смотрю на доску. Совсем не вовремя мне эта история вспомнилась...

В это время рядом со мной записка упала.

Когда Мария Николаевна отвернулась, я прочёл:

Ты не думай, что я на тебя обижаюсь. Я на тебя совсем не обижаюсь. Я завтра с отцом и матерью уезжаю. И буду учиться в другой школе. Совсем в другом городе. А на тебя я никогда не обижалась. Если бы моего отца в другой город не переводили, я никогда бы, ни за что не уехала...

ТАСЯ

— ...две тысячи четыреста пятьдесят на тысяча четыреста сорок восемь...

Я ничего не слышу.

— ...Получается три тысячи восемьсот девяносто восемь... делённое... получается... прибавляя... итак... отнимаем...

Я ничего не слышу.

Смотрит на меня Кафаров. Звенит звонок.

Я подхожу к Тасе.

— Уезжаешь? — спрашиваю я тихо.

— Уезжаю, — говорит она.

— Насовсем?

— Насовсем. — И улыбается. Как будто это хорошо, что она насовсем уезжает!

— Ну... уезжай... — говорю.

Совсем ведь другое сказать хотел.

Она постояла, посмотрела на меня, а потом повернулась и пошла быстро. Я вслед ей крикнул:

— Это хорошо, что ты на меня не обижаешься!!!

Но она уже, наверное, меня не слышала.

Я хотел побежать за ней.

А потом не побежал.

Не может быть

Пётр Петрович развернул свой завтрак и стал есть яблоко. Кусок хлеба с маслом он положил на подоконник.

Я стоял за стеклянной дверью и тоже ел яблоко. Большой кусок хлеба с маслом я положил на подоконник.

Пётр Петрович поднял кверху яблоко и показал на бутерброд. Он как бы говорил: «Какое совпадение!»

Мы улыбались друг другу, и я вспоминал. Во втором классе я сочинил стихотворение. Я никак не мог решить, хорошее это стихотворение или нет. И стоит ли его читать? А вдруг это ужасное стихотворение? Вдруг там чего-нибудь есть такое ужасное, что я не вижу? Но в то же время, если я его не прочту никому, я так и не буду знать, что это за стихотворение. А может быть, это замечательное стихотворение? Что тогда? Краснея и волнуясь, я сказал Петру Петровичу: «Я написал стихотворение!» В классе были мы двое. Я специально выбрал этот момент, чтобы никого больше не было. «Это похвально, — сказал он, — прочти!» Я вышел на середину класса. Зачем-то влез на парту. Мне казалось, что стихотворение нужно читать непременно откуда-нибудь с высоты. «Не надо на парту, — сказал Пётр Петрович, — слезь, это вовсе не обязательно». Я растерянно слез. «Читай на полу, — сказал он, — это лучше». Я стал читать:

Шёл по улице портной.

Шёл спокойно, шёл домой,

В это время увидал:

Люди лезут на скандал...

Он вдруг перебил меня. «Куда, куда лезут?» — спросил он. «На скандал», — сказал я тихо. «Зачем?» — Он вовсю смеялся. «Лезут — и всё...» — сказал я.

Я не мог понять, почему ему так смешно. Он вдруг прекращал смеяться, спрашивал: «Люди лезут на скандал?» — и опять начинал смеяться. У него даже слёзы на глазах появились.

«Ну, брат, насмешил», — сказал он. Я обиженно молчал. Наконец он спросил: «Сам, значит, написал?» — «Сам», — сказал я. «Сразу видно», — сказал он. «Что, плохо, что ли?» — «Нет, почему же, — сказал он, — смешно... давай дальше».

Дальше читать я не стал. Не хотелось мне почему-то дальше читать это стихотворение.

Мне вспомнился этот случай, и мне показалось, что он тоже вспомнил сейчас этот случай и поэтому улыбается. Сейчас-то я вижу, что это плохое стихотворение. Сейчас-то я сам вижу...

Я взял свой завтрак с подоконника и быстро ушёл. А Пётр Петрович остался. Он помахал мне рукой, когда я уходил.

Два урока прошли очень быстро. Я и сам не знаю, отчего это так бывает: одни уроки быстро проходят, а некоторые тянутся.

Я поднимался по лестнице. Шёл в класс на последний урок.

Сзади меня говорили:

— Такие неожиданные вещи случаются не часто...

— Нет, это ужасно... это такая неожиданность...

— Ведь только что...

— В том-то и дело...

— Прямо... знаете... просто... как вам сказать...

— Нет, вы знаете, в это поверить трудно...

— И я, представьте себе, то же самое...

— Вы слышали, говорят, он пришёл домой...

— Что вы говорите! Я этого не знал...

— Очень, очень неприятно...

— Изумительной души ведь человек...

— В том-то и дело... я и говорю...

Я сначала не очень-то слушал, что они говорят. А потом стал прислушиваться.

По коридору неестественно быстро прошёл завуч Пал Палыч.

Пробежали по коридору несколько человек в одну сторону.

Я вошёл в класс.

Кира Велимбахова стояла на стуле и тоненьким голосом повторяла:

— Пётр Петрович умер... Пётр Петрович умер...

Тася Лебедева плакала очень громко.

В класс вошла Мария Николаевна и сказала:

— Тише, ребята, тише... это большое несчастье...

Она так же быстро вышла, как и вошла, и я подумал, что она могла этого не говорить. Совсем не обязательно было входить в класс и говорить, что это несчастье. Это и так ведь понятно...

Скрипнула резко дверь, и все повернулись. Это Тася Лебедева выбежала из класса.

Завуч Пал Палыч сказал в дверях:

— Занятия сегодня кончились...

Зачем-то зазвенел звонок не вовремя.

Все стали уходить.

«Этого не может быть, — думал я, — этого не может быть...»

Дома я сказал:

— Пётр Петрович умер...

— Этого не может быть! — сказала мама.

И отец сказал, что этого не может быть.

И отец и мать посмотрели в окно, как будто там, за окном, сейчас пройдёт траурная процессия...

Все траурные процессии проходят мимо нашего дома. Были похороны генерала и похороны композитора. Генерал был убит на войне. Его привезли на родину с войны. Убит он был где-то на западе. Генерала везла на лафете от пушки шестёрка лошадей. И было много всадников, много военных, много народу. Несметное количество венков несли за гробом композитора. Улицы колыхались, как море. На балконах, в окнах и на крышах были люди. Гремела музыка, и все шли медленно...

А за гробом Петра Петровича пойдут дети, наш класс и другие классы — вся школа.

Нет, я не пойду...

В день похорон я сбежал.

Я сел на электричку. Помчались за окном дома и виноградники. Я уезжал из города. Поезд мчал меня за город. Я вышел в тамбур. Сел на пол. Мысли прыгали в моей голове как сумасшедшие. Я не знал, куда еду, и просто сидел.

Вся школа сейчас, наверное, идёт мимо наших окон. Весь наш класс. Все идут хоронить Петра Петровича, а я здесь сижу в этом тамбуре... Я всё хотел встать, пересесть на встречный поезд. И поехать обратно. И всё не мог. На одной остановке долго ждали встречный поезд. Все вышли из вагона и ходили по перрону. Я встал и вышел на перрон.

Я видел, как мчался встречный поезд, я хотел перебежать через пути и сесть на него, поехать обратно.

Но я не сделал этого. Я всё стоял, а когда раздался свисток, я вскочил в свой вагон и поехал дальше.

Когда поезд вернулся в Баку, я не слез. Люди входили и выходили, а я сидел.

Опять я поехал из города. Я сидел в углу и не смотрел в окно, хотя я всегда смотрю в окно. Я смотрел на людей, но они ведь не знали, зачем я здесь, они и внимания на меня не обращали...

На одной остановке я сошёл.

Я пошёл к скалам. Дул ветер, и море было зелёное. Ветер гнал песок, и море шумело.

Было пусто.

И всё казалось странным. Брезент с одного грибка сорвало ветром и понесло в море...

Солнце было сильное, и ветер был сильный.

И сильно били волны в скалы...

На обратном пути я выпрыгнул, не дожидаясь, когда поезд остановится, и вывихнул ногу.

Я еле до дому добрался. Нога у меня распухла ужасно.

В школу я не ходил несколько дней, всё лежал с вывихнутой ногой. Я считал себя трусом — иначе почему же я тогда не пошёл со всеми хоронить Петра Петровича?

Я просто трус, вот и всё!

Не мог я видеть мёртвого человека, который вчера был живой!..

Не бросайте якорей!



Белеют паруса. Рябится море. Солнце жжёт. Качаются слегка деревья. Мы с Алькой сидим на барьере.

— «Не бро-сай-те я-ко-рей», — читаем мы. — «Ос-то-рож-но — кабель»...

— Разве кто-нибудь бросает сюда якоря? — говорит Алька.

— Написано, чтоб не бросали, — говорю я.

— Раз никто не бросает, так нечего и писать, — говорит Алька.

— Если б никто не бросал, наверно бы, не писали, — говорю я.

Мы молча смотрим на море.

— Когда я был ещё маленький, то думал, что якоря просто так бросают. Думал, это старое заржавленное железо и его с корабля бросают. Чтобы эти якоря не валялись на кораблях. А потом я прочёл эту надпись, подумал, потому, наверное, эти якоря бросать не разрешают, что это металллом. А после я узнал про якоря, и мне было смешно, что я так думал...

— Про якоря я раньше тоже не знал, — сказал Алька. — Раньше думал, что якорями рыбу ловят. Бросят в море якорь, а на него рыба цепляется. Громадная такая рыба. И её вместе с якорем вытаскивают. Как на крючок... Это всё было детство... — вздохнул Алька.

— Самое настоящее детство, — сказал я.

— Помнишь про карусель? — сказал Алька. — Мы с тобой с утра в очередь становились, чтобы эту карусель крутить. Разгонишь её — и катайся. Гармошка играет. С музыкой. И совершенно бесплатно.

— Много желающих было карусель крутить, — сказал я. — Один раз мы с тобой два часа крутились, а потом встали и упали. Лежим, и всё кажется нам, что мы крутимся. А потом встали и пошли.

— Эх, давно это было, — вздохнул Алька.

— В прошлом году, — вздохнул я.

— Даже не верится, — вздохнул Алька.

— Совершенно не верится, — вздохнул я.

— Другие времена, — сказал Алька.

— Совершенно другие, — сказал я.

Мы ещё раз вздохнули. Вдруг Алька спросил:

— Умрёшь за живопись?

Он всегда внезапно что-нибудь такое спрашивает.

— Умру! — сказал я. — За живопись я готов в любую минуту умереть, об этом и спрашивать нечего.

— И я умру, — сказал Алька. — Живопись — это такая вещь, за неё вполне стоит умереть. Помнишь, нам Пётр Петрович про Микеланджело рассказывал? Умрём за Микеланджело? — Он на меня так посмотрел, как будто я за Микеланджело отказываюсь умирать. Да я бы за него сто раз умер, даже не подумав.

Алька это сразу понял и говорит:

— Я так и знал, что ты за него умер бы.

— Конечно, умер бы, — говорю, — что за вопрос!

Мы с Алькой вздохнули, потом он сказал:

— Послушай, если мы умрём, как же мы тогда живописью будем заниматься?

— А зачем нам умирать, — говорю, — нам совсем не нужно умирать.

— В том-то и дело, что не нужно! — говорит Алька.

— Это ты, — говорю, — всё придумал — умирать. Зачем нужно за живопись умирать, не понимаю! Наоборот, нужно больше жить, чтобы больше картин написать.

— Правильно, — говорит Алька. — Абсолютно правильно!

Паруса сверкали в море. Как будто они плясали в воде. Ветер налетал на море, и море рябью несло в нашу сторону.

— А рамы ты выброси, — сказал Алька. — Раз мы будем делать монументальное искусство. Раз мы будем писать на стенах. Как Микеланджело. Размах! Во! — Он развёл руками. — Во! Вокруг небо! Плывут облака. И в облаках картина.

Он уже всю ора. Показывал на небо и махал руками.

— В каких облаках? — спросил я.

— В небесных! — орал он. — В небесных!

Если ему чего-нибудь в голову придёт, он думает, другие знают, что ему в голову пришло.

— Я уже поменял одну раму, — сказал я на всякий случай.

— Меняй! Меняй! — орал он. — Все меняй! Картины на домах! Идешь по улице и рассматриваешь картины! Здорово я придумал? Это я только сейчас придумал!.. — Он немного отдышался и говорит: — Вот кто я? Как ты думаешь, кто я?

Я на него удивлённо посмотрел, а он говорит:

— Я — новатор! Я это только сейчас понял.

— Это почему же, — спрашиваю, — ты новатор?

— А потому, — говорит, — что я, можно сказать, первый человек на земле, который подал идею расписать все стены домов...

Я не дал ему закончить и говорю:

— Ведь до тебя Микеланджело писал на стенах...

Он так засуетился, я думал, он сейчас свалится с барьера, и говорит:

— Микеланджело внутри дома писал на стенах, а я снаружи! Ты видел, чтобы Микеланджело снаружи писал?

Очень уж хотелось ему новатором быть!

Я не знал и не видел, писал ли Микеланджело снаружи домов свои картины, но всё равно я не верил, что Алька новатор.

Ужасно ему хотелось быть новатором, просто удивительно! Как будто без этого новаторства прожить нельзя. Живут же люди без этого. Никто им за это ничего не говорит. Пусть он не думает, что он скорее меня новатором будет. Ерунду какую-то придумал, про эти стены... Хотя, может быть, он действительно чего-нибудь придумал? Может быть, только кажется, что в этом нет ничего такого, а на самом деле в этом много

чего есть? Может, и вправду такого ещё никто не придумал — расписывать все дома? Неужели за всё время человечества никому в голову не пришла такая мысль?..

Опять я вспомнил Петра Петровича, и то, что я сбежал тогда, и то, что я трус... И мне стало казаться, что такой человек, как я, никогда не станет новатором, никогда ничего большого не сделает, раз он сбежал... Конечно, Алька скорее станет новатором, и, может быть, он уже придумал то, что никто не мог придумать до него...

Паруса всё так же сверкали. Только их стало больше. И всё вокруг стало как будто ярче. Солнце висело над самой головой. И было жарче.

Я слез с барьера и говорю:

— Пойдём со мной к Петру Петровичу.

Он с барьера не слез, только повернулся ко мне и спрашивает:

— Куда?

Я ему спокойно говорю:

— К Петру Петровичу.

Он на меня раскрытыми глазами посмотрел и говорит:

— Как же мы к нему пойдём, если он умер?

— А мы не к нему пойдём, — говорю, — мы к его семье пойдём.

— К его семье? — говорит Алька.

— К его семье, — говорю.

— Зачем? — говорит Алька.

— Надо, — говорю.

— Сейчас? — говорит Алька.

— Сейчас, — говорю.

Это верно, очень уж я внезапно собрался идти к семье Петра Петровича. Но раз уж собрался, я непременно пойду. Кто меня плохо знает, тот может подумать, что я не пойду туда, куда я собрался. Алька-то знал меня. Он-то знал, что я туда непременно пойду, раз собрался. Приду я к семье Петра Петровича и скажу: «Здравствуйте! Извините меня, что я тогда не был». Нет, это не годится, это совсем не то... Я скажу: «Здравствуйте! Я очень жалею, что так всё вышло... так произошло... Я пришёл сказать, что я трус... Я испугался, простите меня за то, что я испугался... Я всегда любил Петра Петровича... может быть, больше всех других я любил Петра Петровича...»

Что-нибудь такое я скажу... что-нибудь скажу такое, как только откроют нам дверь...

— Ничего не понимаю, — говорит Алька. — Почему нам надо именно туда сейчас идти?..

— Надо идти, — говорю, — вот и всё.

А ещё я сказал ему, что он может не идти, если не хочет. Я и сам могу пойти, пусть он не идёт, если ему не надо.

Он руками развёл, и мы пошли.

Когда мы шли, нам Ыгышка встретился. Со своими друзьями. Он стоял на другой стороне улицы, возле кинотеатра. Он что-то говорил своим друзьям, а они его слушали наклонив головы. Можно было подумать, он им что-нибудь умное говорил. Разве мог он им что-нибудь умное говорить, кроме своего «ыгы». Я его много раз видел, как он билетами спекулировал. Поэтому они, наверное, и торчат здесь.

И тут он меня увидел. Он поднял голову и увидел меня на той стороне. Он уже ничего своим друзьям не говорил, а смотрел на меня. Мне показалось, что он сначала вздрогнул, а потом каким-то окаменелым стал. Его дружки повернули головы: они хотели узнать, что там Ыгышка увидел. И в этот момент они бросились врассыпную. Как по команде, все бросились в разные стороны. Одну тётку кто-то из них толкнул, и она упала. У неё была сумка, оттуда выпрыгнула кошка и помчалась вслед за этой компанией. Эта тётка сейчас же встала и побежала за своей кошкой. Милиционер стал свистеть в свой свисток, и за этой кошкой, тёткой и всей компанией бросилось несколько прохожих. Они, наверное, думали, что это какие-нибудь воры или ещё что-нибудь такое, раз они бросились бежать и вдобавок милиционер им свистел вдогонку. Скорее всего, никто ничего не понял. Понять тут трудно было. Один я знал, в чём дело. Но не мог же я им объяснить!

Куда, интересно, несла тётка эту кошку? Может, она её топить несла? Тогда очень даже приятно, что кошка спаслась благодаря этому случаю.

— Чего-то украли, — сказал Алька.

— Наверное, кошку украли, — сказал я. Не хотелось мне ничего ему рассказывать. Во-первых, он не поверит. А во-вторых, не то у меня было настроение, чтобы чего-нибудь такое рассказывать.

— Неужели кошку украли? — сказал он.

— Ты же видел, — сказал я.

Он прошёл немного и говорит:

— Не может быть всё-таки, чтобы кошку украли. Такой скандал из-за кошки? Не может быть!

— Ты же видел, — сказал я.

— Неужели всё-таки кошку украли? — повторял он. Он был очень поражён тем, что украли кошку. На него это здорово подействовало.

Мы подходили к дому Петра Петровича, когда Алька сказал:

— Неужели всё-таки кошку украли?!

Он всё думал об этой кошке.

Я думал совсем о другом.

Я очень волновался, когда звонил.

Старший сын Петра Петровича открыл нам дверь. Он не очень-то удивился, когда нас увидел. Он пригласил нас войти, и мы вошли. Я решил ничего ему не говорить. Я решил всё ЭТО сказать Ангелине Петровне...

Посреди комнаты, прислонённый к столу, стоял холст. Наполовину краска была соскоблена. На полу валялись разноцветные, соскобленные ножом куски краски. С холста стекала вода.

Старший сын Петра Петровича размочил холст, чтобы легче было соскоблить краску. Когда холст размочишь с обратной стороны, краска легко слезает. Опять чистый холст. Пиши себе на нём свою новую картину...

Не обращая на нас внимания, старший сын Петра Петровича соскабливал ножом краску. Звук ножа по холсту был глухой и тупой. Лицо у старшего сына Петра Петровича было сосредоточенное.

Я сразу увидел, что это был за холст.

Портрет отца — вот что скоблил он!

Мы растерянно смотрели.

Ведь это был тот самый портрет, который мы с Алькой должны были в будущем «понять и осмыслить»!

Старший сын Петра Петровича продолжал скоблить. Потом поднял голову и сказал:

— Мамы нету.

Мы всё стояли.

Тогда он сказал:

— Если ты хочешь, я могу тебе вернуть твою раму...

Я молчал.

Он всё скоблил.

Не глядя на нас, он сказал:

— Пусть это вас не смущает... Это логически осмысленный шаг художника... Подготовка холста к новой работе...

Мы с Алькой переглянулись. Ведь это был тот самый «шедевр»! То самое «логически построенное композиционное решение»...

Я сразу представил себе, что если бы он написал тогда НАСТОЯЩИЙ портрет отца, остался бы он у него на память...

Мы потоптались на месте. Потом попрощались. И вышли. Он всё продолжал скоблить, когда мы уходили. Мы сами открыли дверь.

...В скверике имени Двадцати шести бакинских комиссаров пронёсся мимо нас с мячом Кафаров. Он даже нас не заметил. Он мчался забить свой гол.

Лестница

Сколько раз я проходил мимо!

Дворец пионеров. Колонны. Скульптуры у входа. Мраморная лестница...

Там, на четвёртом этаже, в окнах видны мольберты. Громадная гипсовая голова смотрит на меня из окна...

Сколько раз я проходил мимо!

Сколько раз мне хотелось подняться! Один раз я уже вошёл в вестибюль. Стоял и смотрел на лестницу. Лестница блестела, а посередине лестницы был ковёр. Мне хотелось подняться. Туда. На четвёртый этаж. Где в окне видны мольберты. Где эта громадная гипсовая голова...

Я стоял раскрыв рот и смотрел на лестницу.

Я не решался подняться.

Ребята поднимались и спускались по этой лестнице. Они так просто ходили по ней! Смеялись и разговаривали. А некоторые бежали. А некоторые прыгали через две ступеньки...

Нет, я не мог подняться!

Я представил себе: я поднимаюсь... туда... на четвёртый этаж... где мольберты... «Ах, это вы! — скажут мне. — Мы ждём вас! Это вы нарисовали Рембрандта на стене? Вы знаете, это замечательно! Мы будем

счастливы, если вы... со своей стороны... сообразовываете... заниматься, так сказать, в нашей студии. Таких талантов нам как раз и не хватает». А я скажу: «Пожалуйста, я могу заниматься, мне ничего не стоит... я для этого в общем-то и пришёл, собственно говоря... увидел в окне мольберты и зашёл; дай, думаю, посмотрю, что там делается...» А что, если мне скажут: «Ой, Господи! Вы видели, какой он нарисовал кошмарный рисунок? И он ещё пришёл сюда! Да он с ума сошёл! Уходите скорее и не мешайте нам работать». Тогда что я скажу? Вот в том-то и дело! Лучше туда не идти. Кто их знает?

Пётр Петрович говорил: «Ребята! Я скоро вести буду студию. Я вас возьму к себе». Но он умер. Конечно, он взял бы меня. Он меня ведь хвалил. Вы помните, как он сказал тогда про мою золотую руку? Он непременно бы взял меня. И Альку бы взял. Но он умер.

А если я сам пойду? Поднимусь на четвёртый этаж. Разве я плохого Рембрандта нарисовал? А «Летучий голландец»? Тогда почему мой рисунок в Англию послали?

И лестница мне не казалась такой уж особенной. Нужно было подняться по ней. Вот и всё...

А если мне только кажется, что у меня «Летучий голландец» получился? И кажется, будто Рембрандт получился? А в Англию, может быть, мой рисунок послали, потому что у них других рисунков не было? А Олив Нивс ведь девчонка... Что они понимают, девчонки!..

Уходит опять эта лестница.

Нет, я не был уверен. Я просто не был уверен. А все те, кто бежали по лестнице, и все, кто сидят сейчас в студии и рисуют, они все, наверное, уверены, раз сидят там сейчас и рисуют. А я иду мимо.

Вчера и сейчас, каждый день иду мимо.

Но в то же время разве стал бы я рисовать такого громадного Рембрандта во всю стену, до потолка, если я не уверен? Разве я покупал бы рамы? Зачем мне тогда рамы, если у меня никогда картин не будет? Нет, я был уверен. Я был во всём уверен...

Это всё приходило мне в голову. И уходило. Как эта самая лестница.

И вот я иду опять мимо.

А навстречу мне идёт Мария Николаевна.

— Здравствуйте, Мария Николаевна, — говорю я.

— Здравствуй, Витя, — говорит она. И останавливается.

— Вот это погода! — говорю.

— Отличная погода, — говорит Мария Николаевна.

— Совсем нету ветра, — говорю я.

— У моряков, кажется, говорится: штиль? — говорит она. — На море штиль, не так ли?

— А когда ветер — норд, — говорю я.

— Ах, этот норд, — говорит Мария Николаевна. — У меня в комнате два стекла выбил этот норд...

— И у нас стекло выбил, — говорю я, — одно стекло выбил...

— Как поживаешь, Витя? — говорит Мария Николаевна, как будто мы с ней сто лет не видались. — Рисуешь всё, рисуешь... Нет, у тебя, конечно, есть способности, а когда человек со способностями... ведь это счастье... творческое начало в человеке... искусство — большое дело...

Чего, думаю, она мне про эти способности говорит, я и сам знаю, что у меня есть способности. Вот сейчас мне про искусство говорит, а завтра мне двойку поставит.

А она говорит:

— Нужно непременно развивать свои способности. Способности нужно непременно развивать. Учиться нужно. А как же? Путь к мастерству долг... Я помню, один мой знакомый...

Вовсе мне не интересно про её знакомого слушать. Я и сам знаю, что способности развивать надо...

— Пойдём, Витя, со мной вот сюда, в этот дом, я тебя познакомлю... Он таких вот ребят учит... в студии... Может быть, и тебе полезно... Ты, кстати, не ходишь в студию?

Мы вошли в это парадное.

И стали подниматься по лестнице.

Ей трудно было подниматься. Она ведь старенькая. И мы поднимались медленно.

Уплывают корабли

Пляшут на сцене джигиты.

Летит оттуда к нам музыка.

Плывут по морю корабли и лодки.

Качаются на привязи швертботы.

Стоит над бухтой громадный памятник Кирову.

Мы с Алькой сидим на крыше. Отсюда нам виден город. Даже сцена летней филармонии. Даже остров Нарген вдали.

Небо тёмно-синее, и море тёмно-синее. В небе звёзды, а в море огни.

Алька завтра уезжает в Москву. И будет там жить с родителями. Поступит там в художественное училище. И будет писать мне письма.

А я остаюсь. Буду здесь учиться. Поступлю здесь в художественное училище. И буду писать ему письма.

А встретимся мы в Ленинграде. В самой Академии художеств. Где учились знаменитые художники. Где учился наш Пётр Петрович... Мы встретимся с Алькой в этой академии, обнимемся, потом хлопнем друг друга по плечу и вместе спросим: «Как живёшь?» Потом мы рассмеёмся, оттого что вместе сказали «как живёшь», и спросим друг у друга: «Как дела?» А потом мы с Алькой пойдём осматривать Академию художеств... А потом станем знаменитыми художниками... Как великие мастера...

— Вот этот громадный дом, — говорит Алька, — мы с тобой когда-нибудь разрисуем... Мы с тобой весь город разрисуем...

— И другие города, — сказал я.

С моря раздавались гудки. Они были протяжные и длинные.

— И Тася уехала, — сказал я. И чего это я вдруг про Тасю вспомнил!

— Ну и влюблён же ты в Тасю! — сказал Алька.

— И Кафаров влюблён, — сказал я.

— И я тоже влюблён, — сказал Алька.

Я смотрел на него и не верил. Первый раз слышал я, что он в Тасю влюблён.

— Это правда, — говорит Алька. — Только я никому про это не говорил. Только сейчас говорю. Всё равно. Раз теперь уезжаю.

— Врёшь ты всё, — сказал я.

— Что мне врать? Всё равно уезжаю...

Опять с моря гудки загудели. Сцена филармонии опустела. Концерт, значит, кончился. Сцена ещё светилась, как большой прожектор. Но джигитов уже на ней не было.

Потом сцена потухла. Мы молчали некоторое время. Гудки с моря вовсе гудели. Как будто много пароходов плыло куда-то...

